

*М. Альтшуллер,
И. Мартынов*

**„ЗВУЧАЩИЙ
СТИХ
СВОБОДЫ
РАДИ...”**

*Очерки о читателях
декабристской поры*

*Москва 1976
Издательство «Книга»*

ПРОЛОГ	3
«КРАСНОРЕЧИВЫЙ ЗАБИЯКА, ПОВЕСА, ПЛАМЕННЫЙ ПОЭТ...»	21
«И ПУШКИНА СТИХИ В ПЕЧАТИ НЕ БЫВАЛИ...»	34
«ВСЕ ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЕ РУКОПИСИ ХОДИЛИ ПОД МОИМ ИМЕНЕМ...»	71
«В ЧАС КАЗНИ ПРАВОТОЮ ГОРД...» . . .	82
ПРИМЕЧАНИЯ	112

ПРОЛОГ

*Везде шептались. Тетради
Ходили в списках по рукам;
Мы, дети, с робостью во взгляде
Звучащий стих свободы ради,
Таясь, твердили по ночам...*

Так вспоминал о себе и о своем друге Александре Герцене поэт Николай Огарев, чья ранняя юность наступила внезапно, разбуженная романтическим призраком свободы. Это были двадцатые годы XIX века. После блестящей победы над Наполеоном мыслящие русские люди словно почувствовали свою силу. Они не хотели и не могли оставаться безгласными духовными рабами самодержца всероссийского, царя Великия и Малыя и Белья Руси... Уже в 1816 году возникают первые тайные вольнодумствующие союзы. А к 1825 году — можно с уверенностью сказать — все передовое, все благородное, все мыслящее, что только могло выдвинуть русское дворянство, было так или иначе связано с революционной оппозицией. Далеко не все, конечно, вступали при этом в тайные союзы или заговоры, тем более немногие готовили себя для решительной битвы с оружием в руках, но направление умов было таково, что осуждать деспотизм, приветствовать свободу, поддерживать прогрессивные взгляды было делом чести. Вот почему в начале двадцатых годов вольнолюбивые настроения проникали во все сферы русской жизни: от самых знатных титулованных семейств — Трубецких, Волконских, Муравьевых — до никому не известных молодых офицеров, чиновников, учителей.

«У народа, лишенного общественной свободы, — писал А. И. Герцен, — литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести». Революционная оппозиция александровской России в полной мере использовала эту трибуну. Уже в уставе раннего тайного общества декабристов — «Союза благоденствия» было сказано, что «сила и прелесть стихотворений... состоит в непритворном изложении чувств высоких и к добру увлекающих»¹. Многие деятели тайных союзов, будущие декабристы, сами были литераторами. Они печатали в журналах статьи, публицистические письма, очерки, но самым действенным оружием были стихи. Декабристы ведь прежде всего были романтиками, мечтателями, поэтами. «Высокое стремленье» дум очищало и воз-

вышало душу. Вот почему к ним тянулись юные сердца и «твердили по ночам» их вечные поэтические строки.

А в это время те немногие, самые серьезные и энергичные, которые не могли оставаться равнодушными к судьбам своей страны и своего бесправного крепостного народа, выдвигали дерзкие планы изменения существующих порядков, установления другой системы государственного правления. Столкновение между самодержавным деспотизмом и жаждущими свободы было неизбежным. 14 декабря 1825 года на Сенатской площади произошел первый открытый бой. Деспотизм победил. Пытки и казни, тюрьмы и ссылки ждали смельчаков, и они с честью и достоинством встретили свои трудные судьбы. А их свободолюбивым стихам суждена была долгая жизнь. В сотнях тайных списков и тетрадей они продолжали звучать, провозглашая «чувства высокие» и «к добру увлекающие».

«Узок круг этих революционеров,— писал В. И. Ленин.— Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом»².

* * *

В истории литературы сменяют друг друга периоды господства стихов и прозы. Иногда целые десятилетия читатели требуют повестей и романов, и стихи почти исчезают со страниц периодических изданий (так было в России в 70—80-е гг. XVIII столетия и в 50-е гг. XIX). Затем приходит время, когда именно стихи, живой, горячий отклик на злобу дня, живое лирическое чувство, излившееся в поэтических строчках, оказывается для читателя важнее спокойного, обстоятельного повествования.

Первая четверть XIX века была периодом господства поэзии. И уже к началу 1820-х гг. в борьбе с элегическими настроениями Батюшкова и Жуковского в литературу вторглась мощная струя высокой гражданственной лирики поэтов-декабристов. Стихи оказались прекрасной формой политической пропаганды. Небольшие по объему, они легко запоминались. Четкие формулировки, заключенные в ритмические, мерные строки, легко усваивались. Повышенная эмоциональность действовала на умы возбуждающе. В то

же время их революционная сущность сравнительно легко маскировалась привычными поэтическими формами.

В борьбе за умы и сердца сограждан поэты-декабристы стремились использовать любую легальную возможность для того, чтобы обратиться со словом вольности к широкой читательской аудитории. Выработался особый стиль декабристской лирики, стиль «гражданского романтизма»³, особые изобразительные приемы. Слова-сигналы (народ, отчизна, деспот, порок, добродетель, тиран, свобода, ярем, вольность, гражданин, рабство, заря, звезда и др.) или исторические параллели (Рим — республиканский и монархический, новгородское вече — символ республиканской вольности) вызывали у читателя-вольнодумца вполне определенные политические ассоциации. Именно это взаимопонимание с полуслова, мгновенно возникавшее между писателем и сочувственно настроенным читателем, помогло декабристам активно вести политическую пропаганду, не опасаясь полицейских репрессий.

Скрытый подтекст, идейная «двузначность» рылеевских «Дум», «Войнаровского», отдельных стихов в декабристских альманахах «Полярная звезда» и «Мнемозина» открылись консервативной части русского общества только после разгрома декабрьского восстания. Сама форма публикации этих стихов маскировала для непосвященного читателя их злободневную, антидеспотическую сущность. В декабристских альманахах они «растворялись» среди вполне невинных лирических посланий, стансов и элегий. И поэтому не удивительно, что в апреле 1825 года мать, жена и сестры Александра I, получив от издателей «Полярной звезды» изящные томики в роскошных переплетах, поспешили выразить свое «благоволение», а царствующая императрица Елизавета Алексеевна даже пожаловала Бестужеву и Рылееву бриллиантовый перстень и золотую табакерку.

В ловушку, искусно расставленную литераторами-декабристами, попала не только политически наивная императрица, но и такой матерый «гаситель» вольномыслия, как цензор «Полярной звезды», печально известный герой пушкинских сатирических посланий Александр Степанович Бируков (1772—1844). 30 декабря 1825 года, спустя всего две недели после восстания на Сенатской площади, Николай I потребовал привлечь его к ответу за то, что он разрешил напечатать в этом альманахе отрывок из поэмы Рылеева о Наливайке, наполненный «неуместными выражениями о свободе». Несправедливость предъявленных ему

обвинений возмутила верноподданного Бирукова. «Означенная статья, — писал злополучный цензор в объяснительной записке, адресованной царю, — пропущена мною к напечатанию в конце 1824 года. Я не предполагал в то время ни в сочинителе ее, ни в ней самой никаких чувствований буйной свободы безначалия. Сочинителя знал я только по имени и тогдашнему званию его, по коим не мог я сделать о нем предосудительного заключения». По мнению Бирукова, Наливайко в поэме Рылеева выступал как защитник родины и православной веры от угнетателей-поляков, и его ни в коей мере нельзя было счесть «возмутителем народа против законной власти». «Если же ныне, — продолжал свои объяснения цензор, — в вышеупомянутой статье Рылеева и обнаруживаются под восклицаниями пламенеющей ревности к освобождению отечественной страны от чуждого ига дикие вопли буйной свободы безначалия, то оные были не только для меня, но и для всей публики непостижимы: ибо экземпляры означенной книги в самое короткое время раскуплены; между тем как до нынешнего бедственного случая не слышно было никаких замечаний на оную»⁴.

Свидетельство Бирукова о популярности «Полярной звезды» у читателей чрезвычайно интересно, однако мы не можем безоговорочно принять его оценку того политического резонанса, который имел в русском обществе лучший декабристский альманах. Не всем читателям «Исповедь Наливайки» показалась столь невинной, как пытался доказать Николаю I перепуганный цензор. Многим из них были известны не только легально распространявшиеся, но и «подпольные» стихи Рылеева. Они служили «ключом» для расшифровки скрытого от чужих глаз подтекста рылеевской поэмы. Это и объясняет шумный успех «Полярной звезды», о котором А. А. Бестужев, один из издателей альманаха, писал П. А. Вяземскому 28 января 1824 года: «Нынешняя „Звезда“ у нас разошлась в 3 недели до одного экземпляра. Здесь все, даже безграмотные, читают ее — c'est la fureur!»⁵.

Лишенные возможности открыто выступать в печати с пропагандой своих взглядов, поэты-декабристы несли слово вольности на заседания литературных обществ, в великосветские салоны, казармы, учебные заведения. Из рук в руки переходили списки запретных стихов Давыдова, Пушкина, Грибоедова, Рылеева и Бестужева. Число их с каждым годом возрастало в геометрической прогрессии, и они соперничали в популярности с самыми знаменитыми

«чувствительными» романсами Дмитриева и балладами Жуковского.

Естественно, что все написанное поэтами декабристской эпохи тщательно собрано многими поколениями исследователей. На книжной полке современного читателя стоят полные или почти полные собрания сочинений Пушкина и Давыдова, Рылеева и Бестужева, Кюхельбекера и Одоевского, Раевского и Федора Глинки. Переиздана «Полярная звезда».

Поэзии декабристов посвящены сотни статей и книг, однако один очень важный аспект ее изучения ускользает от внимания исследователей. Это проблема читателя, наиболее интересная и мало разработанная область в книговедении и истории культуры в целом. Хорошо известно, что писали декабристы, и значительно хуже — кто их читал и как воспринимал прочитанное.

О читательском восприятии литературных произведений их современниками пишут историки отечественной словесности. Они опираются, как правило, на полемические статьи, рецензии, мемуары и эпистолярное наследие. Эти источники, несомненно, дают представление о читательских вкусах и настроениях, но большей частью отражают мнение только профессиональных литераторов. Даже письма, которые бережно сохранялись на протяжении полутора столетий, принадлежат чаще всего людям известным, оставившим заметный след в истории отечественной культуры. Средний, обычный читатель, таким образом, практически ускользает от нашего внимания.

Там, где литературоведение в его чистом виде не дает ответа на загадки истории, существенную помощь исследователю может оказать книговедческий подход к изучению материала. Для этого нужно обратиться к отнюдь не безгласному свидетелю прошлого — книге, той самой книге, которую держал в руках неведомый читатель начала XIX столетия, и внимательно рассмотреть ее. И здесь окажется чрезвычайно важной любая мелочь, любая деталь в полиграфическом оформлении и внешнем облике: формат и переплет, список подписчиков и степень изношенности, а самое главное — дарственные надписи, экслибрисы и маргиналии. Владельческие пометы на книгах особенно ценны, по сравнению с другими источниками, как живые свидетельства того непосредственного, искреннего отклика их автора на прочитанное, который впоследствии в мемуарах, письмах и статьях нередко претерпевает значительные

метаморфозы из автоцензурных, престижных и иных приходящих соображений.

К сожалению, издатели и читатели декабристской книги (запретной с декабря 1825 года) явно не думали о том, как облегчить работу ее будущих исследователей. Так, среди книг поэтов-декабристов и повременных изданий, в которых они публиковали свои стихи, только единственный альманах — «Мнемозина» Кюхельбекера и Одоевского — дает в приложении список подписчиков.

Правда, и он один многое может рассказать терпеливому исследователю.

Книжки «Мнемозины» выходили в разгар того периода, который Белинский позднее назвал «альманачным»⁶. В 1820-е годы увлечение альманахами стало всеобщим. Маленькие, в ладонь величиной, изящные книжки «Полярной звезды», «Невского альманаха», «Русской Талии», «Северных цветов» — с безукоризненными виньетками на титульном листе, превосходными гравюрами в тексте, отпечатанные на хорошей бумаге и ясным шрифтом — находили себе место и в кабинете делового человека, и в библиотеке литератора, и в походной квартире офицера, и в ридикюле светской дамы.

Издатели «Мнемозины» понимали, что им тоже нужно идти навстречу требованиям публики, и обещали читателям хорошую белую бумагу, четкие литеры, картинки, ноты, «виньеты», красивую картонную «обвертку» и золотой обрез⁷. Однако свои намерения издателям осуществить не удалось. На фоне изящнейших альманахов 1820-х гг. «Мнемозина» выглядела неким Левиафаном. Бумага была серая, низкосортная, картинки уродливые, книжки запаздывали с выходом, последняя — почти на полгода.

В знаменитом биографическом романе «Кюхля» Ю. Н. Тынянов бегло упомянул об издательском предприятии Кюхельбекера: «Его альманах „Мнемозина“ принес ему только убыток, долги. Издал он его неуклюже, картинки приложил варварские, наполнил философскими статьями, а публика любила карманные форматы, стихи легкие и занимательные, повести с быстрыми интригами»⁸.

Однако Тынянов, выступая в данном случае как художник, романист, сознательно сгустил краски: ему важно было показать неприкаянность, неумелость и одиночество Кюхельбекера. В действительности дела с «Мнемозиной» обстояли несколько иначе. Книга нашла своего читателя. «Мы... имеем довольное число подписчиков...» — с закон-

ной гордостью писал в полемической статье В. Ф. Одоевский, один из издателей альманаха⁹.

В конце 4-й книги напечатаны имена подписавшихся на «Мнемозину». Прежде чем вчитаться в этот интереснейший документ, оставленный нам декабристской эпохой, с карандашом в руке подсчитаем количество экземпляров, распространение которых было гарантировано уже при выходе книги. Больше всего людей подписалось в Москве или через Москву, что естественно, ибо здесь печаталась «Мнемозина». Таких подписчиков было 108, в Петербурге подписалось 19 человек. Всего же удалось распространить по подписке 190 экземпляров альманаха.

Нашему современнику, привыкшему к многотысячным тиражам, которые расходятся за несколько часов, такая цифра покажется ничтожной, а все рассуждения об успехе «Мнемозины» смехотворными. Однако не будем торопиться с выводами. Еще в конце XVIII века тираж в 300 экземпляров (малый завод) считался для журналов и книг вполне приличным. Средний завод (600 экземпляров) означал уже известный читательский успех. Такое же положение сохраняется в целом и для начала XIX века, хотя тиражи неуклонно растут. И все-таки даже имевшие потрясающий успех ранние поэмы Пушкина («Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан») выходили лишь в количестве 1000—1200 экземпляров, попытка напечатать первую главу «Онегина» двойным тиражом, 2400 экземпляров, привела к тому, что продажа ее быстро остановилась приблизительно на половине тиража¹⁰. А ведь речь идет о произведениях первого русского поэта, любимца публики. С «Онегиным» «Мнемозина», конечно, равняться не могла. Тем не менее гарантированная продажа двухсот экземпляров должна была покрыть издательские расходы и свидетельствовала о несомненном интересе читателей к альманаху. Хотя «Мнемозина» и выходила в четырех выпусках, она не была в полном смысле слова периодическим изданием, и, надо думать, существенная часть ее тиража разошлась в розничной продаже, особенно после благоприятных отзывов на первый выпуск и ожесточенной полемики в последующих 2—4-м выпусках.

Читатель, таким образом, альманах принял, не испугавшись ни громоздкого формата, ни неряшливой обложки, ни ужасающего количества опечаток, ни задержки с выходом. Удивляться этому не приходится. Все-таки главное в книге — ее содержание. А в «Мнемозине» оно было и

разнообразным и интересным. Нравоучительные повести Одоевского сменялись живыми и яркими путевыми заметками Кюхельбекера. Д. Давыдов поместил здесь отрывки из своих «Записок», а Шаховской — отрывки из комедии «Аристофан». Альманах украшали «Демон» Пушкина и «Давид» Грибоедова, «Эда» и «Леда» Баратынского. Особенно интересен был критический отдел. С темпераментом, вообще ему свойственным, в яростном полемическом задоре формулировал здесь Кюхельбекер важнейшие положения декабристской эстетики.

Однако же анализ содержания «Мнемозины» не входит в нашу задачу. Обратимся к именам подписчиков, первых читателей альманаха. Почти перед каждой фамилией мы увидим указание на высокое общественное положение подписчика: превос<ходительство>, сият<ельство>, выс<окоблагородие>. Читателями книг были дворяне, дворяне их писали, дворяне делали революцию. Список читателей наглядно иллюстрирует известный ленинский тезис о дворянском периоде русского освободительного движения. Лишь иногда в этом списке мелькают просто фамилии: Е. А. Лукошин, А. И. Федоров и др. Их немного, но они свидетельствуют о тяге к культуре того разночинца, который спустя несколько десятилетий заявит о себе в незаурядной фигуре Базарова, в общественной деятельности революционных демократов Чернышевского, Добролюбова и др. Одним из таких разночинцев был А. Ф. Смирдин. На странице IX мы видим против его фамилии цифру 20 экземпляров. Имя Смирдина, знаменитого издателя и книгопродавца, чья лавка была своеобразным литературным салоном, достаточно хорошо известно. В те годы Смирдин только начинал свою деятельность. Выписанные им 20 экземпляров наглядно свидетельствуют о том, что он рассчитывал на книгопродавческий успех альманаха. Его более осторожные и менее предприимчивые коллеги — Я. В. Сленин в Петербурге и Ив. Ив. Большой-Заикин в Москве — подписались лишь на один экземпляр.

От книгопродавцев естественно обратиться непосредственно к читателям. Об их списке можно бы было написать интересную книгу. Однако остановимся лишь на некоторых фамилиях. Кто же они, первые читатели декабристского альманаха?

Вот барон Штейнгель, декабрист, человек, отличавшийся широкими литературными интересами. На вопросы следственной комиссии он отвечал, что читал много, по-



Фронтиспис «Мнемозины» и список подписчиков из архива ее издателя В. Ф. Одоевского.

стоянно, и в числе прочитанных указал книги Княжнина, Радищева и Фонвизина, Вольтера, Руссо, Гельвеция и др., кроме того, из ненапечатанных он назвал сочинения Грибоедова и Пушкина ¹¹.

Далее стоят фамилии двух братьев, Степана Никитича и Дмитрия Никитича Бегичевых. Каждый из них выписал себе по экземпляру «Мнемозины». Дмитрий Никитич, человек большой культуры, позднее получил немалую известность как писатель: в 1830-е гг. он опубликовал роман «Семейство Холмских», затем еще несколько книг. Его брат, в молодые годы офицер, был в 1817 году членом «Союза благоденствия», затем вышел в отставку, женился и отошел от активной общественной деятельности. Еще в 1813 году Степан Бегичев познакомился с молодым офицером Александром Грибоедовым и навсегда остался его ближайшим, лучшим другом. С Бегичевым делился драматург всеми своими замыслами, личными и творческими, у него в имени писал III—IV акты «Горя от ума». И не

удивительно, что друг Грибоедова стал одним из первых читателей книги, которую издавал другой близкий Грибоедову человек — Кюхельбекер.

Не мог не подписаться на книгу долговязого «Кюхли» его лицейский приятель моряк Федор Матюшкин, «чужих небес любовник беспокойный... волн и бурь любимое дитя», как назвал его Пушкин.

И вдруг в этом перечне имен, известных, полузнакомых, вовсе незнакомых, в разделе подписавшихся «в разных городах» мы с недоумением останавливаемся перед фамилией: «его превосходительство Р. И. Ховен — 13 экземпляров». Кто этот генерал? Зачем понадобилось ему столько экземпляров книги? Каковы его отношения с издателями? Ответы на эти вопросы найти нетрудно, и в историю распространения «Мнемозины» вписывается еще одна любопытная страница.

Роман Иванович Ховен — большой друг А. П. Ермолова, грузинский гражданский губернатор с 1818 по 1829 год, т. е. в пору пребывания на Кавказе, в штабе Ермолова, и Кюхельбекера, и Грибоедова. Грибоедов, по словам биографа, живя в Тифлисе, постоянно посещал генерала Ховена. Кюхельбекер на допросе в числе своих грузинских знакомых назвал Ховена.

Переписка Ермолова с Ховеном и письма последнего рисуют нам человека бескорыстного, очень преданного Ермолову (он пережил своего знаменитого друга лишь на две недели). По словам сына, Ховен уделял особое внимание созданию учебных заведений в Грузии, «почти ежедневно посещал Тифлисское благородное училище, переименованное впоследствии в гимназию»¹². Он ценил широкие познания, педагогический опыт и вкус Кюхельбекера и с дружеской бесцеремонностью писал ему: «Я чрезвычайно рад, что Вы поселились в Москве, ибо сие дает мне возможность по старому знакомству иногда попилить Вас касательно приобретения нужных учебных пособий для здешних училищ, о чем имею честь Вас предупредить, и прошу не скучать и не кривиться: это ничего не поможет. Вы лучше всякого другого сделаете выбор для юношества полезного, ergo и не избавитесь от поручений»¹³.

Задумав издание «Мнемозины», Кюхельбекер послал своему тифлисскому другу сто подписных билетов на альманахах с просьбой распространить их среди сослуживцев. Ховен выполнил поручение со свойственной ему добросовестностью. «...С удовольствием исполнил я по возможно-

сти поручение Ваше,— писал он Кюхельбекеру,—...50 билетов равослал я в полки и 13 роздано мною гражданским чиновникам. Остальные 27 билетов при сем возвращаю. Как гг. полковые командиры, равно и чиновники, взявшие билеты, обязываются выписать издание сие прямо через Вас или через московскую типографию»¹⁴.

Очень небогатый (он жил жалованьем, а когда вышел в отставку, оказался лишь владельцем небольшого имения), Ховен поддержал «Мнемозину» из своих личных средств. Сообщая об исполнении поручения, он писал издателям: «Прилагаю ассигнациями триста рублей за 10 экземпляров „Мнемозины“ собственно для меня»,— не забывая при этом и своего любимого детища, местного училища: «Нельзя ли мне воспользоваться предложенною в объявлении уступкою за 10 экземпляров, выписываемых на мою долю? В таком случае прошу прислать один экземпляр лишний для украшения библиотеки здешнего училища, а остальные деньги употребить на пересылку»¹⁵.

Выписанные Ховеном экземпляры, конечно, не остались в его единоличном пользовании. Мы видим, как распространяется декабристская книга среди гражданских и военных служащих Кавказского края, среди офицеров Ермоловского корпуса, на который декабристы сильно рассчитывали в своих планах вооруженных антиправительственных действий.

На первый взгляд может показаться странным, что среди подписчиков «Мнемозины» нет людей, особенно близких и дорогих Кюхельбекеру,— Пушкина, Грибоедова, Рылеева и других. Однако не будем забывать того, что с давних времен у русских литераторов стало доброй традицией дарить друзьям новейшие произведения своего пера. Выявить экземпляры книг и альманахов поэтов-декабристов с их дарственными надписями чрезвычайно важно, так как эти скупые строчки подчас вносят существенные дополнения в биографическую хронику некоторых видных организаторов восстания на Сенатской площади.

История появления в свет «Думы» Рылеева о князе Михаиле Глинском хорошо известна историкам его творчества. И все-таки находка в фондах Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина оттиска этой «Думы» из девятнадцатой части трудов Вольного общества любителей российской словесности (Спб., 1822) с выполненной типографским способом дарственной надписью: «Почтенному Сочинителю в знак душевного уважения.

Переводчик»¹⁶ — как бы заново воскрешает события давно минувших лет. Перед нами «именной» экземпляр, подаренный Рылеевым Юлиану Немцевичу (1757—1841), известному польскому поэту-вольнодумцу, активному участнику национально-освободительного восстания, адъютанту Тадеуша Костюшко. Просидев несколько лет после поражения повстанцев в рavelинах Петропавловской крепости, Немцевич по выходе на свободу напечатал в 1816 году книгу «Исторических песен», посвященных героическому прошлому своего поработанного народа. Песню о Глинском вскоре перевел Рылеев и позднее включил в свой сборник «Дум». Поэт-декабрист высоко чтит труды своего польского учителя, считая их «отличным образцом» гражданской лирики, а себя — скромным «подражателем» Немцевича. Естественно, что сразу после появления в свет «Глинского» Рылеев послал отгиск «Думы» с теплой дарственной надписью «Сочинителю». Мы знаем, что Немцевич получил подарок русского переводчика и горячо благодарил его за оказанную честь¹⁷, однако дальнейшая судьба этой книжечки, на которой не сохранилось никаких помет, остается загадкой. В 1831 году ее владелец навсегда уехал в эмиграцию. Побывал ли отгиск «Думы» о Глинском вместе с Немцевичем на берегах Альбиона или остался в России, предстоит еще выяснить советским и польским исследователям.

Дальнейшие поиски дарственных надписей и владельческих помет на декабристских изданиях, предпринятые в крупнейших библиотеках страны и частных собраниях, оказались почти безрезультатными. В годы, когда николаевские жандармы стремились вытравить в русском обществе само воспоминание о «первенцах свободы», чтение и распространение их произведений приравнялось к политическому преступлению. Немного находилось смельчаков, рисковавших держать в своем доме запретные книги. Однако и они, как правило, вынуждены были уничтожать хотя бы прямые, отягчающие вину улики: дарственные и владельческие надписи, экслибрисы, маргиналии...¹⁸ До наших дней дошел любопытный образчик библиофильской «маскировки» крамольных книг — конволют из собрания Института русской литературы¹⁹. В переплете середины XIX века соединены столь непохожие друг на друга книги, как «Лирические стихотворения» Виктора Гюго в русском переводе (Спб., 1834), «Опыты в стихах» Николая Мягкова (Спб., 1839), «Стихотворения» Владимира Бене-

диктова (Спб., 1835) и первое издание «Войнаровского» (М., 1825) с отрезанной нижней частью титульного листа, где раньше, несомненно, была владельческая запись.

И тем поразительнее выглядит на форзаце одного из экземпляров «Полярной звезды», хранящегося в собрании библиотеки Академии наук СССР²⁰, дарственная надпись Рылеева и Бестужева: «Его превосходительству Ивану Матвеевичу Муравьеву-Апостолу от издателей».

И. М. Муравьев-Апостол (1765—1851) — отец трех сыновей-декабристов, известен как человек незаурядного ума и высших нравственных правил. Маститый сенатор и дипломат, он не раз пробовал свои силы в разных жанрах «визящной словесности»: писал пьесы и стихи, путевые очерки и мемуары, переводил с греческого языка Аристофана и с английского — Шеридана. Прочитав в 1833 году его патриотические «Письма из Москвы в Нижний Новгород», напечатанные в журнале «Сын Отечества», В. К. Кюхельбекер отметил в своем тюремном дневнике, что «они исполнены живости, ума, таланта»²¹.

Когда над сыновьями-декабристами разразилась гроза, Иван Матвеевич не отрекся от них. Горько оплакав младшего сына — Ипполита, застрелившегося на поле сражения, когда стало ясно поражение восстания, отец использовал все связи для того, чтобы облегчить участь приговоренного к смерти Сергея, а затем, после его казни, посвятил остаток жизни заботам о сосланном в Сибирь первенце — Матвее. Светлым чувством гордости за погибших мучеников 14 декабря проникнута его элегия на греческом языке, в которой поэт-отец воспел «три юных лавра», сраженных «перунами» жестокого Зевса²². Не удивительно, что этот смелый человек сохранил в фамильной библиотеке столь бесценный и памятный подарок.

Можно почти с полной уверенностью утверждать, что крамольный альманах был упрятан потомками Муравьевых в самые надежные тайники. Его владельцы явно не желали никаких новых осложнений в отношениях с властями. Однако среди хранителей литературного наследия поэтов-декабристов встречались люди иного склада и характера.

Сверстник и единомышленник декабристов, Александр Николаевич Креницын (1801—1865) только благодаря случайному стечению обстоятельств не разделил их участи. Демонстративно отказавшись служить палачу своих друзей, этот совсем еще молодой, энергичный, широко обра-

зованный офицер рано вышел в отставку и навсегда удалился подальше от столиц, в родовое псковское имение Мишнево. Более сорока лет «анахорет»-вольнодумец посвятил собиранию материалов о литераторах-декабристах. В его огромной библиотеке сохранился редчайший экземпляр не законченного печатанием альманаха Рылеева и Бестужева «Звездочка», почти весь тираж которого после восстания был конфискован и уничтожен полицией²³. Среди пыльных папок фамильного мишневского архива ждали своего часа стопки писем Бестужева, копии с автографов неизвестных произведений Рылеева, спасенных от руки палача соседом Креницына — чиновником Третьего отделения А. А. Ивановским²⁴, крамольные стихи хозяина усадьбы. Казалось бы, человеку, благополучно избежавшему каторги, пора было перестать испытывать судьбу. Но, видно, не для того он собирал стихи и письма декабристов, чтобы прочно запереть их в дальний ящик своего стола. Со всей округи съезжались в Мишнево любители просвещения. Здесь не раз гостил старый приятель Креницына — А. С. Пушкин. Сюда совсем еще юношей случай привел будущего русского историка-либерала М. И. Семевского. К нему и перешли впоследствии в собственность знаменитая «Звездочка», письма Бестужева и стихи Рылеева. Думается, что Креницын не менее щедро раскрывал свои сокровищницы вольной мысли и для других, достойных доверия гостей.

Молодежь жадно ловила каждое слово правды о героях и мучениках восстания на Сенатской площади. Сравнительно немногие могли принять духовное наследие декабризма из «первых рук», у людей, подобных Креницыну. Другим — достались от отцов и дедов потрепанные томики «Полярной звезды» и «Мнемозины», «Дум» и «Войнаровского». К числу этих счастливых принадлежал, как выясняется, юный Н. А. Некрасов, о чем свидетельствует его владельческая запись на одном из экземпляров первого издания «Дум», хранящемся в библиотеке Академии наук СССР²⁵. Возможно, именно отсюда он впервые узнал о трагической судьбе Натальи Долгоруковой — предтечи воспетых им отважных русских женщин, последовавших за своими мужьями-декабристами в каторжную Сибирь.

Далеко не у всех сверстников Семевского и Некрасова была возможность познакомиться со стихами поэтов-декабристов по их прижизненным изданиям. Изъятые после подавления восстания из книжных лавок, публичных биб-

лиотек и учебных заведений²⁶, книги и альманахи государственных преступников нещадно предавались огню. Примеру полиции последовали перепуганные обыватели, имевшие неосторожность приобрести в свое время сочинения Рылеева, Бестужева и Кюхельбекера. Обыски на квартирах лиц, заподозренных в заговорщической деятельности, довершили дело искоренения «плевел» крамолы. Поэтому не удивительно, что в 30—50-е годы прошлого века чудом избежавшие аутодафе декабристские издания ценились чуть ли не на вес золота. «Редкость, — пометил в октябре 1859 года известный русский библиофил С. Д. Полторацкий на форзаце рылеевских «Дум» (М., 1825). — Мой экземпляр зачитан. Этот купил у Б. за 10 рублей серебром»²⁷. 24 руб. 50 коп. заплатил в 1845 году другой неизвестный поклонник Рылеева за тоненькую книжечку «Войнаровского» (М., 1825)²⁸. Далеко не каждому любителю вольной поэзии была по карману такая покупка!

Вполне естественно, что в годы николаевской реакции, наряду со списками искони запретных антиправительственных стихов Давыдова, Пушкина и Рылеева, широкое распространение в разных слоях русского общества получили рукописные копии с печатных изданий «Дум», «Войнаровского», отдельных стихотворений поэтов-декабристов из журналов и альманахов времен александровского царствования. Вместе с ними в «заветные тетради» проникли первые поэтические отклики на события 14 декабря, среди которых особое место занимали пушкинское послание «В Сибирь» и «Ответ» Одоевского.

Итак, читатель вольной декабристской поэзии тех лет — это, как правило, одновременно и ее «издатель», пусть «тираж» этих рукописных «изданий» редко превышал одну-две копии. Тысячи списков дошли до нас безмянными, об их переписчиках и владельцах мы ничего не знаем и, очевидно, никогда не узнаем. И все же нам известны десятки имен читателей запретных стихов. Их сохранили для потомства личные архивы, святая святых человека, что открывается чужому взору, за исключением редких случаев, только после смерти их владельцев.

Само по себе наличие в частной библиотеке или архиве 1830—1850-х годов печатных изданий или рукописных сборников стихов поэтов-декабристов еще не свидетельствует о сочувствии владельца этого собрания освободительным идеям. Николаевским чиповникам и жандармам нередко приходилось знакомиться с «возмутительными»

сочинениями по долгу службы; консервативно настроенный обыватель стремился быть в курсе всех государственных дел, чтобы не отстать от века; легкомысленных светских мотыльков привлекал в декабристской поэзии аромат запретности, а нежные сердца дам — чисто эмоциональное сочувствие к «несчастливым». Поэтому, анализируя тот или иной список, всегда необходимо ясно представлять себе идейный и нравственный облик человека, чья рука выводила крамольные строки.

И все-таки для историка декабристской книги и ее читателя мало познакомиться со своим героем только по материалам, предоставленным в его распоряжение учеными других специальностей. Он должен найти в самих книгах и рукописях ответ на вопрос: кто были их владельцы, что за мысли возникали у них при чтении и какие выводы из прочитанного делали они для себя. К сожалению, после долгих поисков нам удалось обнаружить всего лишь один экземпляр декабристского издания — томик «Войнаровского» (М., 1825) — с читательскими маргиналиями²⁹. Владельческая надпись на титульном листе некоего Языкова (поэта, библиографа или кого-нибудь другого — теперь трудно установить) полустерта. Та же рука оставила на полях страницы 24 — против монолога Мазепы: «Уж близок час, близка борьба!..», частично срезанный при переплете книги любопытный комментарий: «...а именно — час свободы!»

Там, где не сработал испытанный метод поэземплярного просмотра печатных изданий, неожиданно интересный материал для изучения читательского восприятия стихов поэтов декабристского лагеря дал анализ их списков в «заветных тетрадах». Вчитываясь в привычные строки Давыдова, Пушкина и Рылеева, мы отмечали в них все различия, пропуски и перестановки. При проверке оказалось, что некоторые списки восходят к разным авторским вариантам; однако в большинстве случаев все объяснялось обыкновенными ошибками, характерными для устного и рукописного бытования литературного произведения. И все-таки даже в этих ошибках переписчиков зачастую можно проследить определенную систему, стремление ослабить или, наоборот, усилить революционное звучание того или иного стихотворения. Активное восприятие авторского текста сквозь призму собственных политических симпатий нередко превращало читателя-переписчика, вольно или невольно, в читателя-редактора, читателя-соавтора.

Даже сама композиция, монтаж материала в рукописном сборнике немало может рассказать о его составителе. Стоит обратиться, например, к одному из таких «альманахов», владелец которого, к сожалению, остался неизвестным³⁰, чтобы без особого труда нарисовать портрет человека дерзкого, радикально настроенного, не потерявшего присутствия духа и своеобразного чувства юмора даже в самые трагические дни. Старательно переписав в свою тетрадь бездарные рабленые стихи С. И. Висковатова «На пятнадцатое декабря» по случаю воцарения Николая I, отмеченные, как указано составителем сборника, «благоволением» императора и бриллиантовым перстнем, он прокомментировал эту галиматью анонимным стихотворением «Фонарь»:

Когда бы вместо фонаря,
Который тускнеет во время непогоды,
Повесить за ноги царя —
Тогда бы воссиял волшебный луч свободы.

Таким образом становится ясным, что читатель потаенной декабристской литературы оставил нам память о себе не на страницах печатных изданий, а в переписанных им пожелтевших от времени листах.

Рассказу о запретных стихах декабристов в личных архивах их современников и посвящена эта книга. В ней рассказывается только о тех стихах и о тех поэтах, которые имели наибольший читательский успех. Речь пойдет лишь о небольших по размеру агитационных, политических стихотворениях. Имевшая громадный общественный резонанс, разошедшаяся по России в сотнях списков комедия «Горе от ума» осталась за рамками нашей темы, так как уже достаточно подробно изучена³¹.

Декабристская лирика начинается с поэта, который никогда не был декабристом. Это знаменитый герой войны 1812 года, автор замечательных стихов Денис Васильевич Давыдов. Его политические сатиры и басни декабристы называли в числе наиболее читаемых.

Основное место в нашей книге занял рассказ о читателях пушкинских стихов. «Вольность», «Деревня», «К Чаадаеву», послание «В Сибирь» стали на многие годы образцом декабристской гражданственной лирики, той вершиной, на которую ориентировались, которой подражали другие известные и неизвестные поэты, чьи стихи нередко распространялись под именем пушкинских.

На следующем месте по интересу в читательской среде стоят стихи Рылеева.

Отношение разных читателей к творчеству одного поэта или даже к одному стихотворению особенно рельефно выявляет идейное и эстетическое своеобразие читательской позиции. Это соображение определило внутреннюю структуру каждой главы, состоящей из небольших литературных портретов владельцев «заветных тетрадей».

До наших дней дошли многие десятки имен переписчиков, хранителей и распространителей запретных декабристских стихов. Естественно, что обо всех невозможно и не нужно рассказывать, поэтому перед авторами встала проблема отбора. Конечно, нельзя было не упомянуть о таких читателях, как Державин и Тютчев, братья Тургеневы и Чаадаев, Соболевский и Полторацкий, стоявших в центре литературной и общественной жизни России первой половины прошлого столетия. В то же время на страницах этой книги встретится немало полузабытых и забытых имен. За каждым из них стоит целая группа людей со схожими интересами и настроениями, будь то революционный кружок молодежи, культурно-историческое гнездо русской провинции или литературная группа. При этом в центре внимания находится читатель активный, не механический переписчик, а редактор и зачастую соавтор вольнолюбивой гражданственной лирики декабризма...

«КРАСНОРЕЧИВЫЙ ЗАБИЯКА, ПОВЕСА, ПЛАМЕННЫЙ ПОЭТ...»

В первые годы александровского царствования по Петербургу распространилось стихотворение «Сон», высмеивавшее именитых вельмож. Имя автора сатиры ни для кого не было секретом. Офицер и поэт Сергей Никифорович Марин, которому тоже слегка досталось в этих стихах *, писал своему другу М. С. Воронцову в январе 1804 года: «Маленькому Давыдову мыли за стихи голову; он написал Сон, где всех ругает без милосердия»¹.

«Маленький Давыдов» — это тогда еще совсем молодой, девятнадцатилетний юноша, а позднее прославленный поэт, легендарный герой Отечественной войны 1812 года Денис Васильевич Давыдов.

«Мытье головы» закончилось для него весьма печально: поэт был переведен из столичного гвардейского полка в армию, в Белорусский гусарский полк, квартировавший в селе Звенигородка Киевской губернии. Причиной такого для тех либеральных дней строгого наказания была, разумеется, не одна лишь безобидная в сущности для властей сатира «Сон», были у Давыдова вещи и пострашнее. «Он, — рассказывает о себе Давыдов в третьем лице, — часто на нарах солдатских, на столике больного, на полу порожнего стойла, где избирал свое логовище, писывал сатиры и эпиграммы, коими начал ограниченное словесное поприще свое»².

А если б, между нами,
Был цензором назначен я,
На басни бы налег; ох! басни — смерть моя!
Насмешки вечные над львами! над орлами!
Кто что ни говори:
Хотя животные, а все-таки цари, —

распинался в фамусовской гостиной Загорецкий. Этот доносчик и сплетник не зря так горячо негодовал именно на

* Там были такие строки:

В несчастных рифмачах старинной нет отваги,
И милый наш Марин не пачкает бумаги...

баснописцев: политическая басня, благодаря Давыдову, с начала XIX в. стала острейшим оружием антиправительственной борьбы.

Басни и были причиной резкой перемены в судьбе Давыдова: «В 1804 году, — продолжает он свой рассказ, — судьба, управляющая людьми, или люди, направляющие ее ударами, принудили повесу нашего выйти в Белорусский гусарский полк...»

До нас дошло далеко не все из сочиненного в ту пору острым на язык юношей, но и дошедшее является едва ли не самым дерзким и радикальным из всего, что было создано в русской гражданской поэзии в 1800-е годы. Такова, например, басня «Голова и Ноги»:

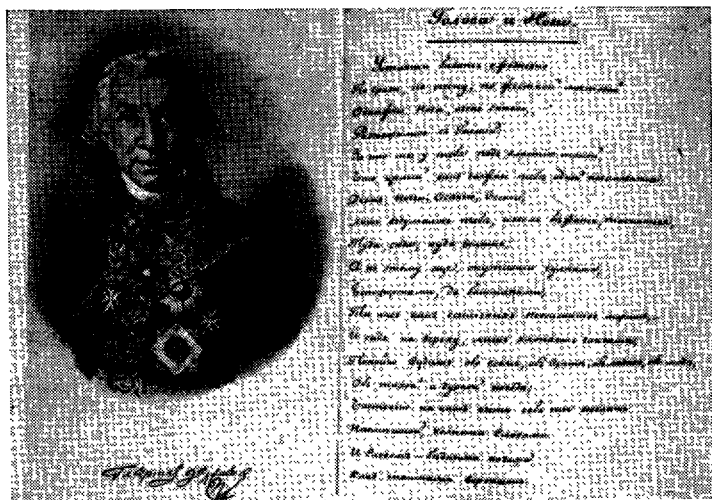
Уставши бегать ежедневно
По грязи, по песку, по жесткой мостовой,
Однажды Ноги очень гневно
Разговорились с Головой...

которая распоряжается Ногами, как «ссылочными невольниками», вертит ими, «как шашками».

«Молчите, дерзкие, — им Голова сказала, —
Иль силою я вас заставляю замолчать!..
Как смеее вы бунтовать,
Когда природой нам дано повелевать?»

«Все это хорошо, пусть ты б повелевала,
По крайней мере нас повсюду б не швыряла,
А прихоти твои нельзя нам исполнять;
Да, между нами ведь признаться,
Коль ты имеешь право управлять,
Так мы имеем право спотыкаться
И можем иногда, споткнувшись — как же быть, —
Твое Величество об камень расшибить».

Один из списков этой басни хранится в Ленинградской Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Он принадлежал Гавриле Романовичу Державину и находится в одном из томов его обширного архива³. Честный, пылкий, энергичный поэт, губернатор и министр, был, по собственному признанию, «горяч и в правде черт», он всю жизнь не ладил с царями и не удивительно, что хранил у себя в бумагах тщательно переписанную басню Давыдова. Однако в державинской копии несколько смягчена, по сравнению с другими списками, сама идея бунта. «Кто вас *принудил* бунтовать?» — спрашивает здесь Голова. Ноги, подданные, таким образом, с точки зрения составителя



Портрет Г. Р. Державина. Список басни Д. Давыдова из архива Г. Р. Державина.

списка, сами не могли дойти до идеи возмущения — это плод постороннего влияния. В подтексте здесь, несомненно, подразумевается Великая Французская революция, чье разрушительное влияние Державин и его окружение усматривали и в реформах Александра I, и в карамзинской литературной традиции, и во французских модах.

Незначительное, казалось бы, разночтение показывает несходство читательской психологии разных кругов русского общества. Читатель активно вторгался в авторский текст, меняя его, подчиняя и своему сознанию, и мироощущению своей социальной группы. Придворные, вельможи, люди старшего поколения рассуждали, мыслили осторожнее, чем молодежь, и, сознательно или бессознательно, вносили изменения в переписываемые строки. Разумеется, нет оснований считать, что Державин сам выправил этот стих — его копия отражает определенную точку зрения, встречающуюся и в других списках.

Один из них принадлежал Дмитрию Александровичу Янькову. Этот человек, проживший сравнительно недолгую жизнь (1761—1816), не оставил после себя сколько-нибудь заметного следа в истории русской культуры, он был лишь неутомимым читателем, владельцем прекрасной

по тем временам библиотеки, и внимательнейшим образом следил за всеми явлениями общественной жизни. Отец его, Александр Данилович, как рассказывает невестка, был превосходно образован, «он прекрасно говорил по-французски и по-немецки, учился итальянскому языку и португальскому, изучал разные науки, историю, математику, астрономию и морское плавание...»⁴ Об образованности и широких интересах А. Д. Янькова свидетельствует каталог его книжного собрания, сохранившийся в рукописном отделе Библиотеки им. В. И. Ленина в Москве⁵. Этот любопытный, на нескольких страничках документ не представляет собою полного описания яньковской библиотеки, включавшей в себя, как сказано в начале описи, 396 печатных книг (8 — русских, 1 — немецкая, остальные французские).

В каталоге выделены основные разделы библиотеки, характеризующие разносторонние интересы ее владельца. Здесь и математика (14 книг), и юриспруденция с политикой (22), медицина (7), путешествия (65). Сравнительно мало места в библиотеке занимали «Поэзия, романы и элоквиция», т. е. красноречие (22 книги).

Яньков-отец очень интересовался нравственно-правовыми сочинениями. У него были «Аргенида» Барклая (Paris, 1626) и «Похождения Телемака, сына Улисса» (Rotterdam, 1717), написанные Фенелоном. Обе эти книги, повествующие главным образом об обязанностях государей по отношению к подданным, пользовались в России большой популярностью и были переведены на русский язык В. К. Тредиаковским. Рядом с многотомным, крупноформатным «Телемаком» на книжной полке Янькова стояла еще одна маленькая книжка Фенелона, которая значится в его библиотеке «De l'education des filles» (Amsterdam, 1697). В комедии Фонвизина «Недоросль» Софья показывает дядюшке книжку, которую она держит в руках и читает. Узнав, что это Фенелон «О воспитании девиц», Стародум говорит племяннице: «...читай ее, читай», — считая это чтение полезным для молодых людей. Так же, вероятно, думал и Александр Данилович Яньков, оставляя свою обширную библиотеку детям Дмитрию и Анне.

Брат и сестра были очень дружны. Они вместе умножали книжные богатства отца. У них был общий экслибрис, очень простой, без рисунка, лишь надпись печатными буквами: «Принадлежит Анне и Дмитрию Яньковым»⁶. Они вместе выписывали книги. Так, в числе подписавших-

ся на четырехтомное «Новое и краткое понятие о всех науках..» (1796—1797) значатся Д. А. и А. А. Яньковы.

Дмитрий Александрович до конца своих дней продолжал собирать книги и рукописи. Он своим аккуратным почерком переписал басню Давыдова «Голова и Ноги».

В этом списке еще отчетливее, чем у Державина, выражена мысль о несамостоятельности выступления Ног:

«Кто вас *подбил* забунтовать»,—

спрашивает их Голова, которая в этом списке с еще большей категоричностью утверждает свое право на господство над Ногами-подданными:

«Вы знаете: судьба меня создала,
Чтобы повелевать...»⁷

Она изображена здесь более грубой, чем в других списках, отвечает Ногам окриком:

«Молчите, дураки...»

(в остальных списках несколько мягче: молчите, дерзкие...).

И у Державина и у Янькова вместо литературного «швырять» — употреблено просторечие:

«По крайней мере нас повсюду б не пырала»,—

говорят Ноги. Этот просторечный глагол расширяет и углубляет смысл басни: Ноги выступают не как придворные, недовольные царем (текст можно понять и таким образом), а как народ в целом.

Образованный читатель XIX века выражал свое отношение к политическому стихотворению, не только вторгаясь в переписываемый текст, изменяя его в соответствии со своим мироощущением. Если он был резко не согласен со злободневной политической сатирой, он легко переходил к открытой полемике и на стихи отвечал стихами.

Рассказывая, как маленькому и бойкому поэту «мыли голову», С. Н. Марин добавляет, что на стихи его написал возражение Аргамаков. Речь идет об Александре Васильевиче Аргамакове (1776—1833). Мать его Федосья Ивановна была родной сестрой Дениса Ивановича Фонвизина. Сын ее, так же как и ранее братья Павел и Денис, обучался в Московском университете. Тринадцатилетним мальчиком Александр принял участие в сборнике, носив-

шем длинное и витиеватое, по обычаю того времени, название: «Полезное упражнение юношества, состоящее в разных сочинениях и переводах, изданных питомцами вольного благородного Пансиона, учрежденного при императорском Московском университете».

Внизу титульного листа, под заглавием и виньеткой, проставлены, как обычно, выходные данные книги: Москва. В Университетской типографии, у Н. Новикова. 1789. Таким образом, племянник знаменитого сатирика Фонвизина напечатал свои первые стихи в сборнике, изданном великим русским просветителем Н. И. Новиковым. Однако это не оказало заметного влияния на судьбу блестящего аристократа, в дальнейшем полковника знаменитого гвардейского Преображенского полка.

Став офицером этого полка, Аргамаков был среди тех «янычар», как называл их Пушкин, которые вторглись в спальню перепуганного Павла I в ночь на 12 марта 1801 года. По некоторым сведениям, именно он снял с себя шарф, которым был задушен император.

В 1804 году стихотворение Аргамакова, тоже под названием «Сон», без подписи появилось в Москве, в журнале «Друг просвещения». Этот журнал издавали писатели-староверы (литературные и политические): анекдотически знаменитый графоман Дмитрий Иванович Хвостов, на стихах которого оттачивали свое остроумие многие поколения литературных шутников, Павел Иванович Голенищев-Кутузов, ярый противник Карамзина*, прославившийся своими доносами на историографа, и ныне безнадежно забытый Григорий Сергеевич Салтыков.

Стихотворение Аргамакова не только было принято в журнал, но редакция особо отметила принципиальное значение этой публикации, снабдив ее примечанием: «Издатели благодарят за сообщение им сих прекрасных стихов».

Первые три строфы стихотворения действительно направлены против давыдовского «Сна»:

* Так, в письме к министру просвещения графу А. К. Разумовскому от 10 августа 1810 г. П. И. Голенищев-Кутузов, споря с царем, награждавшим Карамзина, писал: «...Карамзин явно проповедует безбожие и безначалие. Не орден ему надобно бы дать, давно бы пора его запереть; не хвалить его сочинения, а надобно бы их сжечь...» — Чтения в обществе истории и древностей российских при Московском университете. М., 1858, кн. 2, отд. II, с. 185.

Вчера я лег в постелю
И страшный видел сон:
Мальчишку пустомелю
Сек розгой Аполлон...

Однако центральной в стихотворении является четвертая строфа, где речь идет уже о басне «Голова и Ноги».

Чего не понимаешь,
О том ты так же врешь,
И *ноги* заставляешь
Болтать нам вздор и ложь⁸.

Курсив в изданиях XVIII—начала XIX в. заменял кавычки. Аргамаков, таким образом, прямо назвал басню Давыдова и вступил с ней в открытую полемику. Можно убивать царей, вероятно, считал этот блестящий аристократ, но не объявлять об этом вслух. Менять монархов — привилегия избранной дворянской верхушки, а не «ног» — общества.

Иной точки зрения придерживались декабристы, в их кругу стихотворение получило широкое распространение. «Кто из молодых людей несколько образованных, — писал декабрист В. И. Штейнгель, — ...не цитировал басни Дениса Давыдова «Голова и Ноги»⁹.

Самой острой, самой яркой и самой опасной для Давыдова была басня «Орлица, Турухтан и Тетерев». Герои ее — три последовательно сменяющих друг друга царя. Первая птица прославляется поэтом:

Орлица
Царица
Над стадом птиц была,
Любила истину, щедроты изливала,
Неправду, клевету с престола презирала.

Когда царица умерла, царем избрали Турухтана. Это важная и глупая птица вроде кулика, с пышным и ярким воротником из разноцветных перьев. Турухтан

Кого велит до смерти заклевать,
Кого в леса дальнейшие сослать...

Подданные решили расправиться с «птицей-кровопийцей»:

Свершили месть —
Убили петуха!
Не стало Турухтана, —
Избавились тирана!

Нетрудно догадаться, что Орлица здесь Екатерина II, правление которой противопоставлено жестокому и безалаберному царствованию Павла I. Хвалить Екатерину, ругать только что убитого царя в сочинении, не предназначенном для печати, наверное, было допустимо, но дерзкий автор не пощадил и царствующего императора. В разгар либеральной весны, в пору, которую даже Пушкин, не любивший царя, назвал «дней александровых прекрасное начало», Д. Давыдов писал о злоклучениях птичьего царства:

...все согласно захотели,
Чтоб Тетерев был царь.
Хоть он глухая тварь,
Хоть он разиня бестолковый,
Хоть всякому стрелку подарок он готовый,—
Но все в надежде той,
Что тетерев глухой
Пойдет стезей Орлицы...
Ошиблись бедны птицы!
Глухарь безумный их —
Скупяга из скупых,
Не царствует — корпит над скопленной добычей
И управлять другим несчастной отдал дичью.
Не бьет он, не клюет,
Лишь крохи бережет.
Любимцы ж царство разоряют
Невинность гнут в дугу, срамцов обогащают...

Автор намекал и на глухоту царя, и на его обещание управлять «по законам и по сердцу своей великой бабки», и на кружок интимных друзей императора (Новосильцев, Кочубей, Строганов, Чарторыйский), осуществлявший преобразование первых лет царствования Александра.

Басня произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Ее с жадностью читали и переписывали даже те, кто не годовал на автора за его смелость.

Одним из таких людей был Андрей Тимофеевич Болотов (1738—1833), отставной капитац и опытный помещик, человек тихий и скромный, он отличался удивительным трудолюбием, очень много писал, главным образом по сельскохозяйственным и экономическим вопросам. Он был издателем первого в России сельскохозяйственного журнала «Сельский житель», затем редактировал и составлял журнал «Экономический магазин», издававшийся Н. И. Новиковым. О своей небогатой событиями, но долгой жизни этот старательный домохозяин рассказал в многотомных,

обширных мемуарах «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков».

В Публичной библиотеке в Ленинграде сохранились десятки тщательно переплетенных томиков болотовского архива, сплошь исписанных его аккуратнейшим почерком. Один из этих томиков называется «Магазин (т. е. собрание) достопамятных и любопытных бумаг, носившихся в народе». Переписав туда басню, робкий, верноподданный и тихий Андрей Тимофеевич раздражается негодующей филиппикой против сочинителя: «Сие, хотя ловко сочиненное, но дерзкое и ядом и злостью дышащее и сожжения достойное стихоплетение пошло в народе в начале 1805 года. О сочинителе всеобщая молва носилась, что был он некто г<осподин> Давыдов, человек острый, молодой, но привыкший к таковым злословиям. И за сие будто бы был наказан ссылкой в Сибирь, чего он по всей справедливости был и достоин»¹⁰.

Болотов кое-что перепутал: перевод автора «возмутительных» стихов из столицы на Украину дошел до него как ссылка в Сибирь, которая, с точки зрения этого благонамеренного читателя, вполне заслужена.

По-другому отнесся к басне Давыдова Михаил Иванович Антоновский (1759—1816), чей жизненный путь пересекся на какое-то время с радищевским. М. И. Антоновский прожил трудную, бедную и суровую жизнь русского интеллигента-разночинца. Сам он, правда, выводил свой род от французских графов де Ланжерон и был дворянином, что не мешало ему жить на скудное жалованье и умереть в глубочайшей бедности. Образование Антоновский получил в Киевской академии и Московском университете. Перейдя на службу в Петербург, Антоновский стал секретарем и, вероятно, фактически организатором общества «Друзей словесных наук», членом которого был А. Н. Радищев. Общество издавало журнал «Беседующий гражданин» (1789 г.). Как рассказывает в своих «Записках» член общества, тогда молодой офицер, а позднее генерал, участник войны 1812 года С. А. Тучков, на заседании общества Радищев прочел статью «Беседа о том, что есть сын отечества», а затем, сам переговоривши с цензором (статья, по словам Тучкова, была написана «с вольностью духа»), опубликовал ее в последнем номере (декабрь 1789 г.) «Беседующего гражданина»¹¹. Недавно было высказано предположение, правда недоказанное, что на заседаниях общества Радищев читал главы своей знамени-

той книги «Путешествие из Петербурга в Москву»¹². После ареста Радищева общество было закрыто.

Антоновский не умел ладить с сильными мира сего, кланяться, угождать начальству, вовремя промолчать. Человек он, видимо, был прямой, несколько неуклюжий. «Стиль — это человек», — гласит французское изречение, и Антоновский действительно сам был похож на суровый моралистический журнал «Беседующий гражданин», на свои «тяжелые и крутые» (так охарактеризовал их издатель «Русского архива» П. И. Бартенев) «Записки». Он поссорился со своим покровителем графом И. Г. Чернышевым, при Павле I обличал директора Публичной библиотеки графа Шоазеля-Гуффе в хищении книг и, оставшись не у дел, в конце жизни почти нищенствовал, едва не умирая с голоду. «Я так беден, — писал он в 1804 году, — что едва дневное пропитание имею, — да и то по дружбе старинных моих приятелей, коим уже при нынешней дороговизне становлюсь в тягость. — Меня уже за долги кормящие меня харчевники тащат в тюремное заключение»¹³.

До нас дошел небольшой рукописный каталог его библиотеки, состоявшей в основном из исторических сочинений. Антоновский собирался писать историю России и питал живой интерес не только к ее прошлому, но и к настоящему. В его архиве сохранились злые эпиграммы на министра юстиции Г. Р. Державина, на сенатора и члена государственного совета Н. С. Мордвинова.

Басня Давыдова про глухого Тетерева особенно приглянулась Антоновскому по душе. Познакомившись с ней, он взялся за перо. То ли он собирался по мотивам давыдовской басни написать свою, то ли просто решил воспользоваться ее образами, чтобы излить свое негодование, но на чистом листе бумаги появился заголовок «Надпись притче». Следуя за Давыдовым, Антоновский пишет о государстве птиц, но главное внимание уделяет окружению царя, его молодым друзьям, которые ведут страну к гибели: «В царстве орлов воцарился глухой тетерев и, подружившись по глупости своей с дроздами — щебетунами беспрестанными, подвергает через пагубное влияние дроздов царство орлиное неминуемой пагубе»¹⁴.

Затем Антоновский хотел, видимо, подробно рассказать о действиях императора, и в неразборчивом черновике нижней части листа он набрасывает историю орлиного царства, «которое бесчисленные века существовало, всегда

бывши под управлением орлов». Однако затем правление «перешло к турухтану — самой глупейшей и злейшей птице», которая и «была удушена от орлов». А затем, с точки зрения автора, наступает самое худшее: «Дабы орлам только не ссориться, они избрали на царство глухаря, сию гибель орлиному царству...» У Давыдова дана лишь общая характеристика Александра I, Антоновский же собирался свой вывод подкрепить большим количеством примеров. «...А сие доказывается его деяниями...» — продолжает он предыдущую фразу и обрывает здесь свою запись. Вероятно, дальше должен был следовать рассказ об учреждении министерств, указе о вольных хлебопашцах и пр.

Так резкая критика государственной политики облеклась у читателя в образы давыдовской басни.

Басня Давыдова, написанная в самом начале XIX века, долгие годы держалась в памяти современников и потомков. О ней уже в конце 1840-х — 1850-х годов дважды упоминал в своих «Записках» Николай Иванович Греч.

Бойкий, циничный, остроумный, Греч до 1825 года в либеральных, свободолюбивых кругах русской интеллигенции пользовался скорее хорошей, чем дурной репутацией. Он был дружен с Рылеевым, принимал у себя в доме многих молодых людей, в том числе будущих декабристов, которые «любили умную болтовню хозяина, временами горячую полемику гостей»¹⁵.

В 1812 году Греч начал издавать прекрасный журнал «Сын Отечества», вскоре ставший трибуной для выражения либеральных идей. Здесь печатали свои произведения учитель Пушкина Куницын, Катенин, Грибоедов, Кюхельбекер и другие литераторы, члены декабристских обществ или близкие декабризму.

Но грянуло восстание декабристов. Греч насмерть перепугался и поспешил как можно скорее откреститься даже от самого невинного либерализма. Вместе с Булгариным составили они ту печально знаменитую пару, которая вызывала к себе дружную ненависть нескольких поколений всех порядочных людей в России.

В старости Греч сел писать мемуары, которые так и назвал «Воспоминания старика». Ни литературное дарование, ни остроумие, ни память не изменили опытному журналисту. Неприглядные картины жизни царей, придворных, продажных администраторов и низкопоклонных литераторов чередой проходят перед читателем.

Став убежденным монархистом, Греч с умилением вспоминает первые годы царствования Александра I: «Россия приветствовала юного царя, своего любимца, невыразимым восторгом». Однако, признает Греч, уже тогда многие порицали его правление и действия. «Эти порицания проявлялись в рукописных стихотворениях». И здесь Греч прежде всего вспоминает басню Давыдова, которую он, спустя десятилетия, продолжает считать лучшим из подобных стихотворений. Греч, конечно, знал и помнил имя автора, но, видимо, не хотел его называть, поскольку политические убеждения Давыдова, к этому времени уже умершего, к старости изменились так же, как и у мемуариста. «Самое сильное из этих стихотворений, — продолжает свой рассказ Греч, — было „Орлица, турухтан и тетерев“, написанное не помню кем. Орлица — это Екатерина, Турухтан — Павел, а Тетерев — Александр, который в самом деле был крепок на одно ухо»¹⁶.

После «мытья головы» Давыдов не писал более дерзких вольнолюбивых стихов. Другая поэтическая слава пришла к нему: автор лихих «залетных» гусарских посланий и неожиданно грубоватых и в то же время глубоко прочувствованных любовных элегий стал известен всей читающей России.

Александр I, который, по всей вероятности, познакомился с басней про глухаря, не простил автору оскорбления. Хорошо осведомленный о характерах современников, Греч писал: «Вообще Александр был злопамятен и никогда в душе своей не прощал обид...»¹⁷ (Родного брата в смысле злопамятства, правда, перецеголял Николай I, томивший долгие годы в изгнании и ссылке всех декабристов, которых

Лет сорок сряду — все прощал,
Пока все умерли в изгнаныи¹⁸.)

Хотя благодаря хлопотам влиятельных друзей Давыдов вскоре вернулся в Петербург, в гвардию, военная его карьера была навсегда испорчена — царствующий читатель не давал хода дерзкому остро слову; и блестящий храбрец, честолюбивый воин, легендарный партизан и опытный военачальник после войны 1812 года остался не у дел. Несмотря на свои выдающиеся дарования, он вынужден был уйти в отставку в чине генерал-майора и, быстро одряхлев, умер в своем имении в 1839 году.

А дерзкие басни, отделившись от своего создателя, продолжали жить. Они читались, переписывались, вызывали к жизни новые «возмутительные» стихи и подготовили следующий, уже собственно декабристский этап распространения вольнолюбивой литературы.

Этот этап связан в первую очередь со стихотворениями Пушкина.

«И ПУШКИНА СТИХИ В ПЕЧАТИ НЕ БЫВАЛИ...»

И. И. Пущин, ближайший друг Пушкина, рассказывает в своих воспоминаниях: «...езде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура! в Россию скачет...» и другие мелочи в том же духе. Не было живого человека, который не знал бы его стихов»¹.

В 1822 году Пушкин написал «Послание к цензору», где рассказал о тех смельчаках, чьи рукописи, «не погибая в Лете», разгуливают по свету без дозволения властей:

Радищев, рабства враг, цензуры избежал,
И Пушкина стихи в печати не бывали;
Что нужды? Их и так иные прочитали.

Речь идет о дяде поэта Василии Львовиче Пушкине, о его известной поэме «Опасный сосед». Однако можно думать, что автор намекал здесь и на себя, а читатели, переписывая среди прочих стихов и «Послание к цензору», только самого Александра Пушкина и имели в виду.

Спустя несколько недель после восстания уже знакомый нам декабрист В. И. Штейнгель написал Николаю I из Петропавловской крепости откровенное письмо, в котором, говоря о настроении молодежи, недовольной деспотическим правлением, вспоминал: «Кто из молодых людей несколько образованных не читал или не увлекался сочинениями Пушкина, дышащего свободою...»²

Через долгие годы каторги и ссылки пронесли декабристы память о вдохновенных и мужественных стихах поэта. И. Д. Якушкин, на склоне лет создавая свои мемуары, вспомнил о встрече с Пушкиным в исходе 1820 года: «Я ему прочел его Noël: «Ура! в Россию скачет», и он очень удивился, как я его знаю, а между тем все его ненапечатанные сочинения: «Деревня», «Кинжал», «Четырехстишие к Аракчееву», «Послание к Петру Чаадаеву» и много других — были не только всем известны, но в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал их наизусть»³.

В 1856 году Ивана Дмитриевича Якушкина, недавно вернувшегося из тридцатилетнего изгнания, встречал другой семидесятилетний декабрист Федор Николаевич Глинка. Маститый старец приветствовал давнего друга стихами, в которых вспоминал молодость, бурные двадцатые годы и поэта, кумира молодежи:

Тогда гремел звучней, чем пушки,
Своим стихом лицейский Пушкин...⁴

ОДА «ВОЛЬНОСТЬ»

Вспоминая запретные стихи Пушкина, и современники, и потомки прежде всего обращаются к оде «Вольность», которую они называют по-разному: «Вольность», «Ода свободе», «Ода на свободу», «Ода вольность», «Песнь к свободе», «Мысли о свободе» и даже по-французски «Ода sur la liberté».

В 1874 году, незадолго до смерти, Некрасов набросал три строки так и не законченного стихотворения:

Хотите знать, что я читал? Есть ода
У Пушкина, название ей: Свобода.
Я рылся раз в заброшенном шкафу...

Пушкин высоко ценил свое юношеское произведение. Подводя итоги своей деятельности в знаменитом «Памятнике», перечисляя свои заслуги перед Россией, поэт писал:

...в мой жестокий век восславил я свободу...

Что речь здесь идет именно о «Вольности», доказывает черновой вариант этой строки: «...вслед Радищеву восславил я свободу». (Написанная Радищевым ода «Вольность» была включена в «Путешествие из Петербурга в Москву», в главу «Тверь». Пушкин свою оду назвал «Вольностью», следуя за Радищевым.)

Она была написана в декабре 1817 года в доме братьев Тургеневых. Окна кабинета Николая Тургенева выходили на Михайловский замок, заброшенную резиденцию удушенного Павла I. Здесь рождались знаменитые исполненные жгучей ненависти строки:

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу...

Антидеспотический пафос оды сразу же сделал ее необычайно популярной. Списки «Вольности» исчисляются

сотнями и подтверждают свидетельства современников о широчайшем ее распространении. Один из таких списков, ранний, почти современный созданию оды, вместе с некоторыми другими копиями стихотворений Пушкина сохранился в личном архиве одного из интереснейших деятелей начала XIX в. — путешественника и писателя Василия Михайловича Головнина (1776—1831) ⁵.

6 сентября 1819 г. шлюп «Камчатка» после двухлетнего кругосветного путешествия бросил якорь на Большом рейде Петербургской гавани. Командовал шлюпом капитан второго ранга В. М. Головнин. Имя этого прославленного капитана хорошо было известно не только в морских кругах — все любители отечественной словесности с удовольствием читали и перечитывали «Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812, 1813 годах с приобщением замечаний его о Японском государстве и народе», вышедшие в Петербурге в 1816 году.

Отважный мореплаватель был захвачен японцами на острове Кунашир и два года прожил в тяжелом и опасном плену. В начале прошлого века даже образованные русские, как, впрочем, и другие европейцы, ничего не знали о народе, жившем на небольших густонаселенных островах и наглухо закрывшем свои двери для всех иностранных кораблей.

В. М. Головнин обладал редкой памятью, профессиональная наблюдательность сочеталась в нем с крупным литературным дарованием. Живой язык, точность и оригинальность изображения в рассказах Головнина оценил Греч, печатавший в «Сыне Отечества» отрывки из путевых рассказов Головнина.

Головнин был человеком, много и со вкусом читавшим. Сохранившийся каталог его библиотеки насчитывает около 500 названий ⁶. Все книги разбиты по XVI основным разделам. Интересно, что главный, казалось бы, для владельца раздел: «Книги, принадлежащие мореплаванию», включает лишь 40 названий, т. е. менее 10% общего состава библиотеки, тогда как «Театральные сочинения», «Стихотворения и поэмы», «Романические сочинения», «Философские сочинения» представлены очень широко и не уступают специальным разделам.

Каталог велся со свойственной флотскому офицеру аккуратностью. Означены книги, покинувшие библиотеку: то подаренные в Камчатке комиссионеру Хлебникову траге-

дии Озерова и Крюковского, то книги, оставленные в Японии тамошним ученым по их просьбе. Итак, владелец библиотеки не расставался с книгами и в своих дальних странствиях. Его капитанская каюта была заставлена многими десятками томов, сочинениями Ломоносова, Хераскова, Карамзина, Державина.

Седьмой раздел каталога библиотеки, «Театральные сочинения», начинается с записи: «Вадим Новгородский — трагедия». Имя автора не обозначено, хотя полное, в пяти томах, собрание сочинений этого писателя, Якова Борисовича Княжнина, вышедшее уже после его смерти, в 1802—1803 гг., имелось в библиотеке Головнина. Правда, в это собрание трагедия «Вадим Новгородский» не вошла. В истории русской культуры нет книги с более трагической судьбой (если не считать «Путешествия из Петербурга в Москву»), чем «Вадим». Правда, в отличие от Радищева, автора этой книги уже не было в живых, когда в 1793 году трагедия Княжнина была сожжена палачом.

«Вадим Новгородский», написанный в 1788—1789 гг., не мог быть поставлен на театре — начавшаяся Французская революция отнюдь не благоприятствовала смягчению царской цензуры. Лишь спустя два года после смерти драматурга, в 1793 году, трагедию напечатал книгопродавец И. П. Глазунов. Затем она была переиздана в 39-м томе Собрания русских драматических сочинений «Российский феатр».

Разгневанная императрица сравнила трагедию с «Путешествием» Радищева и приказала сжечь ее «рукою палача». Жестокой экзекуции подверглись также и все еще не распроданные экземпляры 39-го тома «Российского феатра»: листы с «Вадимом» безжалостно были выдраны из них и тоже сожжены. Тягостное впечатление производят эти тома «Российского феатра», уцелевшие в наших библиотеках: печатный текст внезапно обрывается на последних страницах трагедии И. А. Крылова «Филомела», и читатель с удивлением перелистывает десятки страниц чистой, чуть синеватой бумаги, вплетенных в книгу вместо уничтоженной трагедии.

Сенат приказал изымать по губерниям уже купленные экземпляры и присылать в Петербург для сожжения, но книг поступало мало: в Петербурге было отобрано два экземпляра, в Могилеве — один, в остальных губерниях — ни одного⁷: читатели не хотели расставаться с крамольной книгой. Одним из таких читателей был молодой мичман

Василий Михайлович Головнин. В 1793 году он был выпущен из морского кадетского корпуса, и, кто знает, может быть, на первое свое жалованье приобрел в магазине Глазунова эту книгу. Несмотря на строжайший запрет, молодой моряк сохранил ее в своей библиотеке.

В трагедии Княжнина изображен убежденный республиканец Вадим. Он борется с самодержцем Руриком, хотя тот и представляет собой образец благородного, рыцарственного государя. Для Вадима важнее всего защита новгородской вольности, республиканского принципа.

Самодержавие повсюду бед содетель,
Вредит и самую чистейшу добродетель
И, невозбранные пути открыв страстям,
Дает свободу быть тиранами царям,—

эти исполненные антидеспотического пафоса строки читал в запретной книге молодой моряк.

Теперь становится понятно, почему спустя четверть века уже не юный мичман, а капитан второго ранга, прославленный мореплаватель, автор популярных книг, член-корреспондент Санктпетербургской Академии наук тщательно сохранял в своем деловом архиве пушкинскую оду «Вольность», в которой молодой поэт так страстно выступил против тиранов.

Мы не знаем, когда попала к Головнину эта копия и кто написал ее, однако вспомним, что на шлюпе «Камчатка», который отплыл из Петербурга в сентябре 1817 г., находился мичман Федор Матюшкин, один из близких лицейских друзей Пушкина, соученик Кюхельбекера, позднее подписчик и сотрудник «Мнемозины».

«Вольность» была написана, видимо, в самом конце 1817 г., т. е. уже после отъезда Головнина, но когда «Камчатка» вернулась, Матюшкин, естественно, сразу же познакомился со всем, что написал его друг, и, весьма вероятно, принес список запрещенной оды своему капитану⁸.

Ода переписана на двух листах аккуратным писарским почерком с большим количеством орфографических ошибок, которые тщательно выправлены то ли самим владельцем, то ли тем, кто доставил список Головнину⁹.

Как уже было сказано, ода «Вольность» расходилась по всей стране в многочисленных копиях. В академическом Полном собрании сочинений Пушкина учтено 65 таких важнейших списков, лишь тех, которые в той или иной мере, по мнению редакции, могут восходить к авто-

графам Пушкина или к текстам, им продиктованным¹⁰. Среди этих списков почетное место должен занять и головнинский.

Однако для нас он интересен не столько близостью к пушкинскому автографу, сколько теми, может быть, почти бессознательными изменениями, которые внесены переписчиком в авторский текст. Среди многих разночтений головнинского списка особенно важны перемены в последних строфах оды, встречающиеся и в других рукописных копиях. Поэт предупреждает владык:

И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды.

Список, пренебрегая тавтологией (мрак — темница), усиливает действенность угроз, чтобы ясней стала их несостоятельность:

Ни мрак темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды.

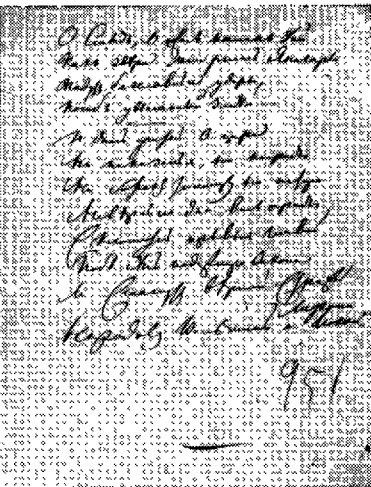
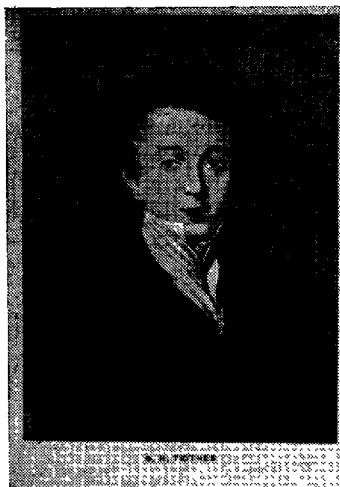
Важнейшая для Пушкина мысль выражена им в последних стихах оды — обращении к царям:

Склонитесь первые главой
Под сень надежную Закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

Т. е. твердо установленные законы, конституция, перед которой все равны, обеспечит счастье и покой граждан и личную безопасность монархов. (Знаменательно, что Закон, наряду со словами Власть, Судьба и Свобода в тексте автографов последовательно пишется с большой буквы.) Читатели, принявшие эту мысль поэта, перенесли центр тяжести со слова *сень* на слово *Закон*, переадресовав ему эпитет *надежный*:

Склонитесь первые главой
Под сень надежного закона...

С пушкинской точки зрения, Закон не нуждается в оправдании, в оговорках. Написанный с заглавной буквы, он в самом себе несет все свое значение: Закон как символ не может быть надежным или ненадежным. Этот пафос пушкинской мысли снимается переписчиками, но



Портрет Ф. И. Тютчева (масло, начало 1820-х гг.).
Список оды «Вольность», сделанный Ф. И. Тютчевым.

зато вновь подчеркивается конкретная злободневная политическая сущность стиха: России нужны надежные законы.

Мы и в дальнейшем часто будем встречаться с этой характерной особенностью рукописного бытования политической лирики: читатель упрощает, суживает общественно-социальную проблематику стихотворения, но зато усиливает его злободневность, политическую актуальность.

В 1820 году с одой Пушкина познакомился семнадцатилетний студент Московского университета Федор Иванович Тютчев. «О молодом Пушкине, об оде его «Вольность»... он беседовал со своим другом, будущим известным историком Михаилом Петровичем Погодиным. Вероятно, в это же самое время он переписал на клочке бумаги двенадцать последних строк пушкинской оды. В запись молодого поэта попали строки, клеймящие цареубийц:

О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары...—

и стихи, призывающие царей склониться главой «под сень надежную Закона». Выписка показательна для отношения Тютчева к вольнолюбивым стихам Пушкина. С ранней юности проникнутый пантеистическим мироощущением,

Тютчев ищет гармонии и в природе, и в человеческих отношениях. Только слияние человека с окружающим его миром природы избавит людей от смятения и страданий. Поэт завидует древним народам, которые

...книгу Матери-природы
Читали ясно, без очков! ¹¹

Эти строки написаны в декабре 1821 года, а несколько ранее, в 1820 году, Тютчев написал не предназначенное для печати стихотворение «К оде Пушкина на Вольность». Он восхищался поэтом, о котором пишет:

Счастлив, кто гласом твердым, смелым...
О муз питомец, награжден!

Однако же в выписке Тютчева не случайно отсутствуют исполненные тираноборческого пафоса стихи о «самовластительном злодее», строфы о Великой французской революции и казни Людовика XVI. В конце своего стихотворения он предлагает поэту проповедовать в стихах умиротворение и, смягчая страсти, помочь людям достичь царства добра и красоты:

Воспой и силой сладкогласья
Разнежь, растрогай, преврати
Друзей холодных самовластья
В друзей добра и красоты!
Но граждан не смущай покою
И блеска не мрачи венца,
Певец! Под царскою парчою
Своей волшебною струною
Смягчай, а не тревожь сердца! ¹²

Шли годы. Погиб смертельно раненный на дуэли великий поэт. Но интерес к его стихам не падает. Несмотря на все старания правительства, декабристская «крамола» распространяется и после подавления восстания, перешагивает столичные города и достигает провинции.

Юг России издавна славился как рассадник вольнодумства: «сочувственники» декабристов доставляли немало беспокойства местным властям. В Библиотеке Академии наук СССР сохранился увесистый том «Собрания стихов разных сочинителей» ¹³. Его составил в 1839 году екатеринославский житель Ефим Надхен. Уже сам отбор имен поэтов и их произведений, включенных Надхеном в свою «заветную тетрадь», позволяет судить о его литературных

вкусах. На страницах екатеринославского сборника можно найти вольнолюбивые стихи Адама Мицкевича и Байрона в переводах И. И. Козлова, злую сатиру на провинциальные нравы М. А. Маркова «Харьковский бульвар», политически острую сказку П. П. Ершова «Конек-Горбунок». Завершают тетрадь запретные «Думы» Рылеева «Иван Сусанин» и «Дмитрий Самозванец» и тираноборческая «Исповедь Наливайки».

Особой любовью екатеринославского вольнодумца пользовались стихи Пушкина. Юный поэт в годы своего изгнания прожил только две недели (в мае — июне 1820 года) в городе на Днестре. О немногочисленных встречах Пушкина с екатеринославской интеллигенцией сохранились лишь скудные, отрывочные сведения. Однако пребывание изгнанника в Екатеринославе не прошло бесследно. Не случайно именно тогда в среде чиновников-либералов из окружения губернатора Инзова, молодых офицеров и местных масонов появились списки запретных стихов Пушкина «Послание к Чаадаеву», «Наполеон», «Десятая заповедь» и «Молитва». Переходя из уст в уста, из тетради в тетрадь, вольнолюбивые строки великого поэта попали в сборник Надхена. Но местами подлинный пушкинский текст сильно искажен: «минуты вольности златой» (вместо «святой»), «звезда желаннейшего (вместо «пленительного») счастья» и т. п. в «Послании к Чаадаеву».

Переписана в тетради Надхена и «Ода Вольность» и тоже с большими искажениями. Они объясняются отчасти малой образованностью переписчика, который заменяет непонятные слова другими, не считаясь со смыслом: «Он слышит криков (вместо «Клии») страшный глас» или «как звери вторглись генералы» (вместо «янычары»). Однако, и это важнее, список особенно явственно обнаруживает характерную для рукописного бытования радикализацию текста, зачастую в ущерб и художественности, и глубине идейного замысла. В сборнике Надхена «самовластная порфира» заменила «злодейскую», а «пустынный памятник тирана, забвенью брошенный дворец» стал «постыдным памятником».

Путешествие на юг вслед за пушкинской «Вольностью» завершается в курском имении известного поэта-переводчика 20—30-х годов прошлого столетия Александра Глебова. В его рукописной тетради «Вольность» соседствовала со стихотворным посланием «К друзьям», написанным в ссылке поэтом-декабристом В. Ф. Раевским¹⁴. Внимание

исследователя привлекает пояснение переписчика во второй строфе оды.

Открой мне благородный след
Того возвышенного галла,
Кому сама средь славных бед
Ты гимны смелые внушала.

В «возвышенном галле» Глебов видел знаменитого поэта Лебрена, прозванного Пиндаром. Указание на Лебрена встречается также в других списках. Именно его и имел в виду Пушкин, считают некоторые исследователи, хотя споры о прототипе «возвышенного галла» ведутся и по сей день. В этих спорах списки — свидетельства современников — являются существенным аргументом.

С годами тип читателя-переписчика, хранителя традиций русского вольнолюбия, меняется. От пламенных юношей, восторженных почитателей свободы, заветные стихи, оставаясь по-прежнему запретными, переходят в руки собирателей, библиофилов и исследователей.

Осень 1843 года. В захлавленной, нетопленной петербургской квартире доживал свои дни одинокий, неопрятный старик. «Бедный, как крыса в пустом амбаре, оборванный, в заплатанной одежде, покорный» и безвестный библиограф Анастасевич служил излюбленным объектом злых шуток своих богатых знакомых. Читая красочные описания «пещерного» быта «отца русского книговедения» (как назовут Анастасевича потомки), невольно вспоминаешь его знаменитого «современника» — Степана Плюшкина. «Ученая хранилища библиографа, — вспоминал впоследствии один из гостей Анастасевича, брат издателя «Московского телеграфа» К. А. Полевой, — состояла из двух, может быть из трех больших комнат, уставленных и загроможденных шкапами, полками, столами с книгами и бумагами, а еще больше картонами разных размеров, где хранились тысячи лоскутков бумаги, исписанных заметками и выписками библиографическими, историческими и всякими, которые он собирался употребить в дело. Над всем этим господствовала пыль, скоплявшаяся всюду без всякого преследования, потому что Анастасевич жил один-одинехонек и не держал никакой прислуги, боясь, что прислуга расстроит у него картонки и лоскутки»¹⁵.

Традиционная фигура отшельника-библиографа, блаженствующего среди пыльных фолиантов в обществе пауков и крыс, хорошо знакома русским читателям. Появив-

шись на страницах одного из первых московских журналов «Доброе намерение» (1764) в образе «славного мужа из Флоренции» — библиотекаря герцогов Медичи Антонио Мальябекки, чудак-«книгоед» давно превратился в литературный штамп. Правда, и по сей день у этих чудачков встречаются вполне реальные прототипы... Однако Василий Григорьевич Анастасевич (1775—1845) не был анахоретом «по призванию».

У приехавшего в Петербург двадцатипятилетнего питомца Киево-Могилынской академии Василия Анастасевича имелись, казалось бы, все задатки для успешной служебной и научной карьеры. Его энциклопедические, хотя и отрывочные познания, энергия и трудолюбие обратили на себя внимание влиятельного при дворе Александра I польского магната Адама Чарторыйского. Среди многообразных служебных занятий исполнительный и инициативный чиновник Министерства народного просвещения умел находить время для серьезных библиографических и исторических разысканий. Активная приверженность идее славянского единства, твердые антикрепостнические позиции привели Анастасевича в разночинный, антидворянский лагерь, являвшийся, по меткому определению М. А. Брискмана, «периферией декабризма»¹⁶. Теоретические статьи по библиографии в журнале «Улей» (1811—1812) и оригинальная система библиографической классификации, разработанная им при подготовке издания «Росписи библиотеки для чтения» В. А. Плавильщикова (1820—1826), упрочили репутацию Анастасевича как одного из крупнейших знатоков русской книги.

Но времена менялись. Лишившись влиятельных покровителей, в обстановке последекабрьской реакции Анастасевич оказался не у дел. Его служебная карьера была загублена; не приходилось ждать надежных доходов и от ученых занятий:

...А на Парнасе что? Пока заслужит лавр,
Скорее с голоду подойдет Бакалавр,
Там не дают аренд, ни лент, ни сытных званий,—
По Стиксовым брегам гуляй с сумою знаний,—

жаловался Анастасевич в сатирическом послании «К моему другу»¹⁷. И стареющему библиографу оставалось только довольствоваться незавидной ролью нахлебника при богатых меценатах. Нищета, постоянные унижения сломили его дух. Библиографическая «всеядность» переросла с го-

Где Вольность А. С. Пушкин

1. Твои соборы и твои свещи
Церкви святой Царства
Есть ли? Есть ли Царство Царей.
Свободы Царств побужда,
Куди, ежи со главы восточной
разли' и жемчужины мур
Кому восточной в Восточной мур
На тропе поразили пороги.
2. Она грядет лишь слабым сердце
открыт лишь душе лишь
Твои восточной Царства,
Куди Царства, сред' мрачной ночи
Твои Царства сердце восточной.
лишь лишь восточной судьбы
лишь лишь
Твои Царства - лишь лишь
Али лишь лишь лишь лишь
Восточной лишь лишь лишь.

Список оды «Вольность», сделанный В. Г. Анастасевичем.

дами в болезненную манию, и мечту Анастасевича о создании «всеобщего репертория российской словесности» поглотили бумажные груды.

И все-таки «лоскутки» убогого старичка были совсем не так смешны и безобидны, как представлялось многим его современникам. Намереваясь включить в свой «реперторий» все, в том числе, и «неизданные», сочинения русских авторов¹⁸, Анастасевич усердно собирал через своих многочисленных знакомых образчики подпольной рукописной литературы. Время не пощадило библиотеку и архив одинокого библиографа. В 1863 году были распроданы с аукциона на вес 68 мешков книг и рукописей. К сожалению, большую часть этих материалов приобрели маляры и обойщики¹⁹. После гибели архива Анастасевича до нас дошло только несколько переписанных им листков с вольнолюбивыми стихами Пушкина. Список оды «Вольность», датированный 21 ноября 1843 года, значительно отличается от ее канонического текста²⁰. Но не это привлекает наше внимание. «Лоскуток» Анастасевича сохранил следы кропотливой работы исследователя над пушкинскими строфами. Сверив текст нескольких списков оды, библиограф выявил и учел все встретившиеся ему разночтения («открой мне благородный след» и «ты укажи мне славный след» — в строке 9, «питомцы» и «любимцы ветреной судьбы» — в строке 13 и др.).

Так в комнате крупнейшего русского книговеда начала XIX века начинался процесс превращения читателя запретных пушкинских строк в их первого исследователя.

«К ЧААДАЕВУ»

Имя Петра Яковлевича Чаадаева, адресата знаменитого пушкинского послания, со школьных лет хорошо знакомо каждому читателю этой книги. Даже в кругу своих блестящих современников молодой гусарский офицер (в 1818 году, когда было написано «Послание», ему было 24 года) был фигурой выдающейся. Участник Отечественной войны и в то же время щеголеватый придворный, масон и затем член декабристских кружков, он отличался блестящим умом и образованием. Три послания посвятил своему другу Пушкин, и Чаадаев, конечно, был внимательнейшим их читателем, но до нас, к сожалению, не дошли принадлежавшие ему списки, и мы не знаем, как он воспринял посвященные ему стихи.

Зато мы знаем, что первое «Послание», распространяясь в десятках списков, превратилось в революционную прокламацию, в политический манифест. Это самое революционное произведение в пушкинском наследии. Только здесь отчетливо сформулирована мысль о насильственном крушении самодержавного строя:

На обломках самовластья
Напишут наши имена.

Стихотворение мало менялось в читательских копиях. Небольшое по размеру, вылившееся на одном дыхании, оно легко запоминалось, не давало возможности многозначных толкований. Читатели лишь иногда вносили в текст некоторые, видимо, почти произвольные изменения. Особенно часто снималось имя адресата — то ли потому, что оно не было известно переписчику, то ли для того, чтобы не компрометировать человека, к которому обращены столь крамольные стихи. Так, в Отделе рукописей Библиотеки им. В. И. Ленина в Москве хранится альбом, принадлежавший неизвестному лицу. Бумага с водяным знаком 1817 года позволяет предположить, что он заполнялся где-то не позднее середины 1820-х гг. На л. 56 здесь переписано послание к Чаадаеву, названное «В альбом». Любопытно в этом списке небольшое стилистическое изменение первой строки. У Пушкина, если судить по наиболее авторитетным спискам:

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман...

Эпитет «тихая» нуждается в специальном комментарии, который и дается исследователями: творчество элегического поэта, автора любовных стихотворений²¹. Для читателя чуть более позднего времени эти тонкости были непонятны и не нужны. Он по-своему переосмысляет ряд ценностей, оказавшихся для поэта мнимыми, и вводит вместо эпитета еще одно очень значимое «существительное»:

Любви, надежды, счастья, славы
Недолго тешил нас обман...²²

Поскольку количество разночтений в копиях послания к Чаадаеву невелико, особенный интерес приобретает хранящийся в Рукописном отделе Института русской литературы альбом Василия Федоровича Щербачева (1810—1878). Это небольшая по размеру, аккуратная тетрадь в

твердом картонном переплете. Последним ее владельцем был известный исследователь, библиограф и издатель П. А. Ефремов, выпустивший первые научно подготовленные издания сочинений Н. И. Новикова, Д. И. Фонвизина, А. Н. Радищева (уничтоженное цензурой) и др. В одном из примечаний редактируемого им собрания сочинений Пушкина Ефремов писал: «У меня находится рукописная тетрадь, писанная в Москве на бумаге 1818 г. Вас. Федор. Щербаковым, знакомым Д. А. Ровинского, К. П. Победоносцева, А. Н. Афанасьева и М. П. Погодина, с которым был знаком еще его отец. Щербаков был страстным любителем книг, и у него была обширная библиотека, заключавшая в себе изрядное количество рукописей. Последние записи сделаны им в тетради не позже 1831 г.»²³. Этот «страстный любитель книг» очень интересовался вольнолюбивыми стихами Пушкина. В ту же тетрадь он переписал «Оду Вольность», «Деревня», «Кинжал», «К морю». В списке стихотворения «К Чаадаеву» наибольший интерес представляет последняя строфа:

Товарищ! верь — взойдет она,
Звезда цивического счастья,
Россия встанет ото сна.
И на обломках самовластья
Напишут наши имена²⁴.

Читатель отбрасывает поэтический, весьма уместный в лирическом стихотворении эпитет «пленительный» и, несколько не заботясь о художественности, заменяет его политическим термином «цивический», т. е. гражданственный, законно установленный, в переносном смысле, конституционный. Все акценты стихотворения таким образом резко усиливаются. Лирические мотивы, окрашивающие стихи, отодвигаются на задний план: главным становятся четкие политические формулировки. Читатель «поправляет» автора, не считаясь с художественными задачами, с общим идейным замыслом произведения (поэт говорит со своим задушевым другом, и политические идеи здесь неразрывно слиты с впечатлениями молодости, любви, «прекрасными порывами» души — в этом контексте термин «цивический» выглядит совершенно неуместным); он формулирует с помощью пушкинского стиха свою политическую программу.

Спекулируя на читательском успехе «Послания», М. А. Бестужев-Рюмин опубликовал это стихотворение

вместе с несколькими другими с подписью Ап (т. е. Апопуп) в «Северной звезде» за 1829 год в таком виде:

К

Любви, надежды, тихой славы,
Не долго нежил нас обман:
Исчезли юные забавы,
Как дым, как утренний туман!
Но в нас еще кипят желанья:
Нетерпеливою душой
Мы ждем, с томленьем упованья,
Подруги, сердцу дорогой,
Как ждет любовник молодой
Минуты тайного свиданья.
Пока надеждою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг! отчизне посвятим
Души прекрасные порывы...²⁵

Выходка Бестужева-Рюмина полностью исказила авторский текст. Если читатель стремился к максимальному выявлению политического замысла поэта, то корыстолюбивый журналист пытался использовать для популяризации своего журнала знаменитое стихотворение, предлагая читателю, вместо политической декларации, некое любовно-элегическое размышление. Последнюю, самую крамольную строфу он при этом убирал, а важнейшую из оставшихся строк:

Минуты вольности святой,—

заменял на:

Подруги, сердцу дорогой.

Вся структура стихотворения оказалась начисто разрушенной, ибо «дорогая подруга» никак не вязалась с отчизной, которой посвящались «души прекрасные порывы».

Естественно, Пушкин был возмущен этой публикацией, дискредитировавшей его в глазах читателей. Он собирался ответить Бестужеву-Рюмину печатно и написал хлесткую отповедь: «Возвратясь из путешествия, узнал я, что г. Бестужев, пользуясь моим отсутствием, напечатал несколько моих стихотворений в своем альманахе... В числе пьес, доставленных г-ном Ап, некоторые принадлежат мне в самом деле; другие мне вовсе неизвестны. Г-н Ап собрал давно писанные и мною к печати не предназначенные стихо-

творения и снисходительно заменил своими стихами те, кои не могли быть пропущены цензурою»²⁶.

Однако заметка Пушкина в печати так и не появилась. Может быть, поэт решил не привлекать лишний раз внимания властей к радикальнейшему произведению своей молодости.

«ДЕРЕВНЯ»

Летом 1819 года в селе Михайловском Пушкин написал стихотворение «Деревня», один из самых замечательных антикрепостнических документов начала XIX века. Крепостное право названо здесь «барством диким», поэт хочет путем реформ добиться коренных политических и экономических преобразований:

Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

Эта программа полностью совпадала с либеральными устремлениями ранних декабристских организаций. Сам Александр I и в начале своего царствования, и в первые годы после Отечественной войны декларировал свои намерения освободить крестьян. Так, в 1813 году в салоне госпожи де Сталь император говорил: «...каждый день я получаю хорошие вести о внутреннем состоянии моей империи, и, с божьею помощью, крепостное право будет уничтожено еще в мое царствование»²⁷.

Когда царь заинтересовался стихами Пушкина и выразил желание их прочесть, командир гвардейского корпуса Васильчиков вызвался доставить запретные стихи коронованному читателю. Адъютантом Васильчикова был П. Я. Чаадаев, который, несомненно, после обсуждения с Пушкиным, передал для Александра I стихотворение «Деревня». Царь не мог не похвалить произведение, выдержанное в столь либеральном духе и обращенное к нему как потенциальному освободителю рабов. «Поблагодарите Пушкина за добрые чувства, вызываемые его стихами», — сказал он Васильчикову²⁸.

Много позднее, когда сильно поблекла надежда на царские милости и передовое общество окончательно разочаровалось во всех либеральных начинаниях Александра I, неизвестный читатель радикально переработал не удовлет-

ворывший его последний стих «Деревни». В одном списке заключительные строки читаются:

Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И рабство падшее и падшего царя...

Этот список неизвестными путями оказался у П. А. Вяземского. Ближайший друг поэта восстановил правильное чтение; поставив знак сноски у переделанной строки, он внизу страницы написал: «по манию царя»²⁹.

Потаенные стихи Пушкина прежде всего попадали к его друзьям и единомышленникам. Среди этих друзей своим блестящим умом, европейским образованием, разносторонними общественно-политическими и экономическими интересами выделялись братья Тургеневы. Они были сыновьями Ивана Петровича Тургенева, известного масона, друга Н. И. Новикова. В 1792 году, после разгрома новиковского кружка, И. П. Тургенев был выслан из Москвы со всем семейством и отправлен на жительство в одну из своих симбирских деревень. При императоре Павле он вернулся в Москву, а в 1800—1803 годах занимал пост директора Московского университета. У Ивана Петровича было четверо сыновей (пятый умер в раннем детстве). Старший, Андрей (1781—1803) страстно интересовался литературой и сам писал превосходные стихи, однако ранняя смерть (он умер 22 лет) не позволила осуществиться тем надеждам, которые возлагали на него друзья.

Другой брат — Александр учился в Благородном пансионе Московского университета, а затем в знаменитом Геттингенском университете (том самом, откуда Владимир Ленский привез «учености плоды, вольнолюбивые мечты...»). Он делал крупную служебную карьеру, которая резко оборвалась, когда либеральная весна начала царствования Александра I сменилась реакцией и в силу при дворе вошел Аракчеев.

Александр внимательно следил за судьбой младших братьев — Николая и Сергея. Николай был самым большим радикалом из четырех. Яростный противник крепостного права, он стал одним из ведущих членов декабристских организаций, его, «хромого Тургенева», изобразил Пушкин в 10-й потаенной и зашифрованной главе «Евгения Онегина». Служебная карьера его, так же как и у брата, прервалась в 1824 году.

Весть о восстании 14 декабря застала всех трех братьев за границей. Николай был судим заочно и приговорен к

смертной казни отсечением головы (заменена потом вечной каторгой). Он навсегда остался за границей и умер в Париже глубоким стариком.

Сергей, потрясенный восстанием, следствием над декабристами и осуждением брата, тяжело психически заболел и умер в Париже 1 июня 1827 года.

Братья Тургеневы были одними из самых образованных людей своего времени. Превосходно владея европейскими языками, они постоянно следили за всеми новостями научной и политической жизни, неумолимо расширяли богатейшую отцовскую библиотеку, на пополнение которой тратили крупные суммы. «При сем посылаю тебе вексель в 1200. Если они тебе не нужны для житья, то употреби на покупку книг», — писал Николай Сергею в марте 1817 года³⁰. «Если ты можешь без них (2216 франков) обойтись, то всего бы лучше употребить их на покупку в Париже книг», — просил он в другом письме³¹. Библиотека, столь щедро расширяемая, быстро росла. «Сегодня по утрам занимался устройством библиотеки, — отметил в дневнике Николай. — По вечеру вставлял кой-какие книги. Всего установлено более 1000 номеров. Еще, кажется, будет с тысячу»³².

Читаю мадам де Сталь, начал читать Ричардсона, читаю «Айвенго» В. Скотта, читаю «Жан Сбогар» Нодье, прочел «Адольфа» Бенжамена Констана, — такими заметками сплошь пестрят письма и дневники братьев Тургеневых.

Сын Николая Ивановича, скульптор, Петр Николаевич Тургенев передал в дар Российской Академии наук богатейший архив своей семьи уже в начале XX века. Этот огромный архив до сих пор (несмотря на многие публикации) хранит в себе массу первоклассных неизданных материалов по истории русской культуры. Находятся здесь и списки стихотворений Пушкина. Среди них листок с «Деревней». Она своим антикрепостническим пафосом не могла не заинтересовать Тургеневых. Стихотворение было написано Пушкиным в июле 1819 года, а уже в августе Александр сообщал Вяземскому о «сильных и прелестных» стихах «Деревни»³³.

Тургеневский список «Деревни» — тот редкий случай, когда читательским достоинством становится еще ранняя редакция стихотворения.

В этом списке мы найдем характерный для сентиментальной, элегической лирики Жуковского и его эпигонов эпитет «сладкий», вовсе не уместный в гражданственном

стихотворении. И Пушкин позднее заменит его на более точный «мирный шум дубров». Строже станут и политические формулировки. Вместо абстрактного «печального мудреца» появится «друг человечества» (выражение, характерное для радикальной фразеологии конца XVIII века: друг народа Марат, «любитель человечества» в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева):

Друг человечества печально замечает
Везде невежества убийственный позор.

Поэт еще работает над текстом, еще идут поиски единственно возможного, необходимого слова, уточняются политические формулы, а стихи уже переписаны, уже обсуждаются друзьями поэта, уже начинают свое долгое движение вплоть до самых дальних уголков России.

«ПАСЯТЕСЬ, МИРНЫЕ НАРОДЫ...»

В 1822—1823 гг. Пушкин, находясь в южной ссылке, пережил острый идейный и духовный кризис. Европейские политические события не оправдали тех революционных надежд, которые звучали в «Вольности» и послании «К Чаадаеву». В 1821 году в Неаполе было подавлено восстание карбонариев, в 1823 — разгрому подверглась испанская революция и казнен был вождь восставших Риего. Укреплялся созданный Александром I «Священный союз» царей против народов. Гениальный поэт словно предугадывал трагическую обреченность своих молодых друзей, которые пытались революционным путем установить в России свободу, политическое равноправие и всеобщее благоденствие.

В ряде стихотворений этого периода («В. Л. Давыдову», «В. Ф. Раевскому», «Демон» и др.) отчетливо слышится мысль о бесполезности революционной борьбы, о недостижимости политической свободы:

Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет.

Максимальной силы и трагической напряженности эти настроения достигают в стихотворении 1823 года «Свободы сеятель пустынный...», последняя строфа которого звучит так:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Эти стихи проникнуты глубочайшим пессимизмом, но в то же время они дышат ненавистью к тому состоянию рабства, нравственного и политического, в котором прозябает род человеческий. Оторванные от остальной части стихотворения, они обрели самостоятельное существование и, наряду с другими вольнолюбивыми стихами Пушкина, начали расходиться в списках. К распространению этих строк приложил руку давний приятель Пушкина Петр Павлович Каверин (1794—1855), упомянутый в первой главе «Евгения Онегина»:

К Talon помчался он, уверен,
Что там уж ждет его...

В нынешних изданиях романа строка с многоточием заканчивается именем Каверина, в прижизненных — оно, естественно, было опущено, но читатель-современник без труда восстанавливал его по заданной рифме, поскольку имя Петра Павловича Каверина, лихого гусара, приятеля Пушкина, было хорошо известно в светских кругах Петербурга.

Получивший прекрасное домашнее образование, Каверин затем учился в Московском, а позднее в 1810—1812 гг. в Геттингенском университете. С января 1813 года он на военной службе, участвует в крупнейших битвах последнего этапа Отечественной войны: под Лейпцигом, Дрезденом и др. Вернувшись в Россию, молодой гусар несколько лет служил в одном полку с Чаадаевым. Увлеченный вольнолюбивыми идеями, Каверин стал членом ранней декабристской организации «Союз благоденствия».

Красавец, человек могучего сложения, весельчак и повеса, Каверин пользовался репутацией лихого кутилы, однако под этой внешностью скрывалось доброе сердце, чуткий, отзывчивый и образованный ум.

Давая Онегину в товарищи друга своей юности, Пушкин хотел подчеркнуть связи своего героя с лучшей частью современной молодежи, с людьми свободолюбивыми, образованными и честными. В черновиках романа, упомянув Каверина, Пушкин охарактеризовал его словами: «Шалун, политик и поэт».

Поэтом Каверин был очень слабым, но Пушкин, несомненно, ценил его живое сочувствие поэтическому слову, постоянные и широкие литературные интересы.

Личные связи и тесное общение с Кавериным были у Пушкина непродолжительными. В 1820 году друзья расстались, Пушкин отправился в ссылку на юг России, а Каверин, съездив в 1820 году в Германию, в 1823 году вышел в отставку в чине подполковника, путешествовал по России, как Онегин, и жил в провинции.

С Пушкиным в эти годы Каверин не встречался, но сохранял животрепещущий интерес к каждому слову знаменитого поэта. Он тщательно переписывал в свои, к сожалению, ныне утраченные тетради все доходившие до него стихи Пушкина. Здесь были записаны и ода «Вольность», и «Братья разбойники», и, конечно, послания к владельцу тетрадей, «Черная шаль», «Русалка», «Море», «Послание цензору» и многое другое. Среди этих стихотворений как самостоятельное было записано и шестистишие «Паситесь, мирные народы». Каверин переписал их под заглавием «Русскому народу»³⁴.

Таким образом, мы снова видим, что читатели стремятся сузить пушкинскую проблематику, приспособить ее только к русским событиям, к отечественной обстановке. При этом, теряя в глубине, стихи выигрывают в злободневности, политической активности. Пессимистические строки Пушкина наполняются гораздо более гневным содержанием, будучи обращены к своей стране и своему народу.

Каверин, старый член «Союза благоденствия», вероятно, и увидел в них трагические размышления о судьбах родной страны. В 1823—1825 гг. Каверин жил в Калуге, куда приехал его деверь Михаил Андреевич Щербинин, давний, еще по гусарской службе, приятель Каверина, тоже добрый знакомый Пушкина, которому поэт посвятил несколько легкомысленное послание:

Житье тому, любезный друг,
Кто страстью глупую не болен...
Кто Наденьку, под вечерок,
За тайным ужином ласкает
И жирный страсбургский пирог
Вином душистым запивает...

Щербинин, естественно, списал у Каверина новые стихи Пушкина, и друзья оживленно их обсуждали, не стесняясь присутствием молодого семнадцатилетнего юнкера Порфи-

рия Федоровича Курилова. Таким образом, близкий к ранним декабристским организациям Каверин и его друг Щербинин в августе 1825 года, т. е. за несколько месяцев до восстания декабристов, осуждали правительство, возмущались отсутствием в стране законов, говорили о приближающемся перевороте. При этом, как впоследствии вспоминал Курилов, донесший после восстания об этих разговорах, постоянно цитировалось стихотворение Пушкина. Его же Каверин послал Курилову в письме в октябре 1825 года. Первая строка стихотворения в передаче Курилова звучала таким образом:

Паситесь, дикие народы...

Доносчик цитировал стихи по памяти, и «мирные народы» стали у него «дикими», что подчеркивало их рабское состояние. В другом списке этого времени народы были названы «русскими»³⁵, и таким образом то понимание стиха, которое отразилось в названии каверинского списка, здесь вошло в самый текст распространяемого произведения.

«ВО ГЛУБИНЕ СИБИРСКИХ РУД...»

«Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье», — эти строки знаменитого пушкинского послания к узникам-декабристам знакомы в наши дни любому школьнику. Однако за их внешней хрестоматийностью таится немало загадок, над которыми ломает головы не одно поколение историков и литературоведов. До нас не дошел автограф этого стихотворения; неизвестно, какое название оно имело в подлиннике; противоречивы сведения об истории и времени его возникновения, а также о том, кто, как и когда доставил стихи Пушкина в Сибирь. Еще меньше мы знаем о первых читателях послания...

В 1851 году, уезжая служить в Петербург, двадцатидвухлетний выпускник Московского университета Петр Иванович Бартенев (1829—1912) попросил у профессора С. П. Шевырева рекомендательное письмо к его давнему знакомцу — знаменитому библиографу, библиофилу и поэту-эпиграммисту Сергею Александровичу Соболевскому (1803—1870). «Бартенев, — аттестовал Шевырев будущего редактора замечательного историко-литературного журна-

ла «Русский архив», — влюблен в поэзию Пушкина и в память о нем. Он собирает все материалы для его биографии»³⁶. В Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР сохранилась объемистая (245 листов) рукописная книга — бартеневская «пушкиниана». Еще студентом-первокурсником, 4 мая 1848 года, Бартенев списал у товарища стихотворение «Деревня». В дальнейшем его уникальное собрание запретных пушкинских стихов пополнилось списками «Вольности», «Кинжала», «К Чаадаеву». Но украшением коллекции юного почитателя великого поэта была копия послания «В Сибирь» — подарок С. А. Соболевского. В этом списке нет третьей строфы (вписанной потом Бартеневым), имеются незначительные текстуальные разночтения («радость» вместо «бодрость», «спадут» вместо «падут», «и братья меч вам подадут» вместо «отдадут»). Но интереснее всего то, что в последней строке стихотворения Соболевский выскоблил слово «меч», пояснив это следующим примечанием: «В списке здесь поставлено «меч», но я твердо помню, что когда Пушкин мне эти стихи читал (а они сочинены им у меня в доме), то это было иначе».

Позднее Соболевский над текстом Послания приписал заглавие: «При посылке Цыган и 2-й песни Онегина ссыльным»³⁷.

Авторитетное свидетельство близкого друга Пушкина на первый взгляд совершенно убедительно. Судя по его словам, послание «В Сибирь» было написано в московском доме Соболевского (Сретенской части 1-й квартал, дом под № 71 на Собачьей площадке), подверглось затем переработке и уже в таком виде привезено к М. Н. Волконской в Читту неизвестным нарочным 12 августа 1827 года (дата получения ею от жены П. А. Вяземского томика «Цыган» в конверте, надписанном пушкинской рукою)³⁸.

Выскобленное Соболевским слово положило начало многолетним спорам об идейной направленности Послания. Одни видели в мече, возвращенном декабристам их братьями по духу, величественный символ победившей революции, другие — всего лишь дворянские шпаги, сломанные над головами осужденных после оглашения приговора. Вспомним, например, напутственные слова Пушкина Волконской из поэмы Некрасова «Русские женщины». В этом вольном переложении послания «В Сибирь» явственно ощущается позиция Некрасова-читателя. Сравним некрасовские и пушкинские строки:

Идите, идите! Вы сильны
 душой,
 Вы смелым терпением богаты,
 Пусть мирно свершится ваш
 путь роковой,
 Пусть вас не смущают утраты!

 Вражда усмирится влиянием
 годов,
 Пред временем рухнет
 преграда,
 И вам возвратятся пенаты отцов
 И сени домашнего сада!³⁹

Храните гордое терпенье...
 Оковы тяжкие падут,
 темницы рухнут...
 И братья меч вам отдадут...

Согласно некрасовской версии, Пушкин удивительно точно «предсказал» судьбу многих ссыльных декабристов. Не царская милость и не революция отворила перед ними двери темниц, а время... В канун освобождения крестьян и государственных реформ дальнейшие мучения лучших сыновей «благородного» сословия стали вопиющим анахронизмом. Это понимал и новый царь Александр II, возвращая убеленным сединами страдальцам дворянские шпаги и «пенаты отцов». Кто бы мог подумать в 1826 году, что рожденный в неволе сын Сергея и Марии Волконских будет выгодной партией для внучки их палача — Бенкендорфа? Однако что бы ни подразумевал субъективно поэт под словом «меч» — сословные ли права ссыльных декабристов или грядущее освобождение России, это ничуть не уменьшало его гражданского подвига.

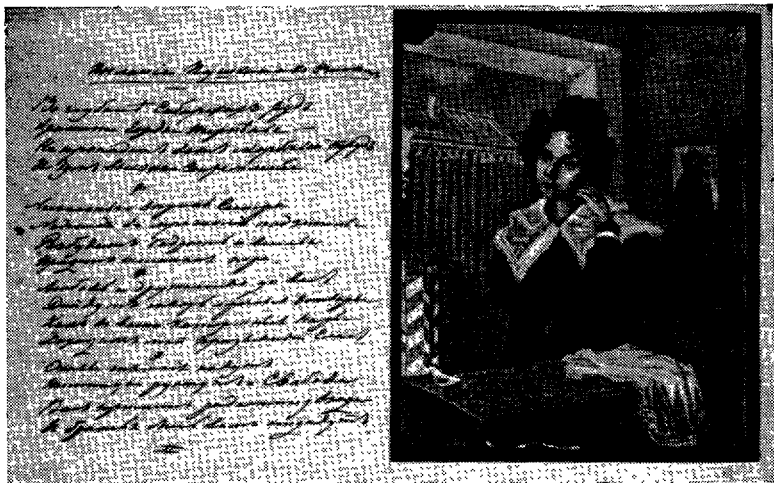
Иное дело — читательское восприятие послания «В Сибирь». Каждому из читателей, в зависимости от его политических убеждений и требований момента, вольно было истолковывать пушкинские стихи либо как невинное послание поэта-гуманиста к попавшим в беду друзьям — и не больше того, либо как революционную декларацию. Далее будет рассказано о вставках и поправках, вносившихся в текст Послания «истолкователями» Пушкина с целью усилить его революционный пафос. И все-таки слово «меч» не относится к числу этих поправок. Его можно найти во всех ранних списках стихотворения, поэтому есть все основания полагать, что оно имелось в окончательном варианте пушкинского автографа.

Вновь с Посланием мы встречаемся уже в Сибири. «Кроткая брюнетка» (как называла свою дальнюю родственницу А. П. Керн) Мария Николаевна Волконская (1805—1863) проявила удивительное мужество и настой-

чивость, добиваясь у царя разрешения отправиться к мужу-декабристу, осужденному на двадцатилетние каторжные работы. 6 января 1827 года П. А. Вяземский писал к А. И. Тургеневу из Москвы: «На днях видели мы здесь проезжающих далее Муравьеву-Чернышеву и Волконскую-Раевскую. Что за трогательное и возвышенное обречение. Спасибо женщинам: они дадут несколько прекрасных строк нашей истории. В них, точно, была видна не экзальтация фанатизма, а какая-то чистая, безмятежная покорность мученичества, которое не думает о славе, а увлекается, поглощается одним чувством, тихим, но всеобъемлющим, всеодолевающим»⁴⁰. Незабываемым был для Марии Николаевны прощальный вечер (26 декабря 1826 года) в салоне ее московской невестки, блистательной Зинаиды Волконской. В причудливом хороводе лиц, улыбок, слез, чарующих звуков музыки особенно ярко запомнилась встреча с давним другом семьи Раевских — Пушкиным. «Наш великий поэт, — вспоминала она через тридцать лет, — был тут... В эпоху добровольного изгнания нас, жен ссыльных в Сибирь, он был преисполнен искренним восторгом; он хотел поручить мне свое «Послание к узникам», чтобы передать им, но я уехала в ту же ночь, и он передал его Александрине Муравьевой»⁴¹. Далее в «Записках» М. Н. Волконской приведен текст известного каждому читателю пушкинского послания «В Сибирь», без каких-либо разночтений.

Записки Волконской впервые стали известны читателям только в 1904 году, но уже за тридцать лет до этого получила широкое распространение легенда об автографе Послания, отправленном Пушкиным в Сибирь с уезжавшей к мужу Александрой Григорьевной Муравьевой. Первую легальную публикацию Послания, напечатанного журналом «Русский архив» в составе записок декабриста Н. И. Лорера, известный уже нам П. И. Бартенев сопроводил следующим примечанием: «Стихи эти были принесены в Москве, в начале 1827 года, самим Пушкиным Александре Григорьевне Муравьевой, перед отъездом ее в Сибирь к ее супругу. Прощаясь с нею, Пушкин так крепко сжал ее руку, что она не могла продолжать письма, которое писала, когда он к ней вошел»⁴². Таково уж свойство легенды — обрастать с годами все новыми и новыми «реальными» подробностями.

Итак, Пушкин не только встретился с Муравьевой и передал ей автограф послания «В Сибирь», но, взволнованный, прощаясь, чуть не повредил хрупкой женщине руку, а, по рассказам С. М. Волконского, перед этим успел еще



Портрет М. Н. Волконской и послание «В Сибирь», переписанное ее рукой.

посетовать на друзей, отказавшихся принять его в тайное общество⁴³. Если мы примем все это за чистую монету, то почему бы заодно не поверить и наивному анекдоту о том, как Пушкин, доставленный фельдъегерем на свидание к царю из Михайловского, чуть не потерял во дворце черновик Послания...

Известный советский исследователь творчества Пушкина М. К. Азадовский, опираясь на неопровержимые факты, убедительно доказал, что А. Г. Муравьева не виделась с Пушкиным перед отъездом из Москвы в Сибирь⁴⁴. Александра Григорьевна мало подходила для роли «курьера» нелегальной почты. Да и в местах ссылки приходилось соблюдать все предосторожности, чтобы не повредить себе и своим близким. «Книги, имеющиеся у них [декабристов], — доносил Бенкендорфу в сентябре 1829 года инспектировавший Читинский острог жандармский полковник Маслов, — должны проходить строгий контроль; никто не имеет права держать книги, не подписанные комендантом, а также касающиеся государственного управления. Письма тщательно просматриваются комендантом»⁴⁵. В первые годы каторги тюремный режим был еще более строгим. Находка Послания у любого из декабристов грозила ему крупными не-

приятностями. Вспомним хотя бы, что при аресте М. С. Лунина в феврале 1841 года одной из важнейших улик против него стали «несколько стихотворений политического характера», переписанных ссыльнопоселенцами⁴⁶.

В этих условиях было бы преступным легкомыслием посылать в далекую Сибирь, через все жандармские кордоны и рогатки, такую важную «улику», как автограф стихотворного обращения к государственным преступникам, в багаже слабой женщины. Но Пушкина трудно упрекнуть в неосторожности. «В самый день моего приезда в Читу, — вспоминал И. И. Пущин, — призывает меня к частоколу А. Г. Муравьева и отдает листок бумаги, на котором *неизвестной рукой* (подчеркнуто нами. — И. М.) написано было: Мой первый друг, мой друг бесценный...»⁴⁷ Итак, поэт не доверил «курьерам» автограф вполне невинного послания к лицейскому другу, тем меньше у него было оснований идти на серьезный риск. Издавна золотое правило распространения нелегальных материалов среди конспираторов (а у декабристов имелся опыт конспиративной работы) гласило: «прочти — запомни — сожги» или «услышь — запомни — передай дальше». Характерно, что до наших дней не дошло ни одного раннего списка послания «В Сибирь». Не исключено, что первое время запретное стихотворение имело хождение среди декабристов в устной форме и только после того, как жандармский надзор за ссыльными постепенно ослабел, попало в их «заветные тетради».

Обратимся к самому раннему списку пушкинского Послания, сохранившемуся среди бумаг и писем М. Н. Волконской и скопированному ее рукой⁴⁸. К сожалению, фабричный штампель на тонком листке почтовой бумаги позволяет лишь очень приблизительно его датировать — 1828—1840-е годы⁴⁹.

На первый взгляд текст списка Волконской представляется вполне каноничным — здесь мы находим и отсутствующую у Соболевского третью строфу и «меч» в последней строке — только одно, на первый взгляд незначительное, различие заставляет серьезно задуматься о читательской судьбе Послания:

...Как в ваши каторжные норы
Доходит мой призывный глас...—

«призывный», а не «свободный». Кажется, мелочь, пустяк — один эпитет заменен другим, — но как ярко такой «пустяк» может охарактеризовать человека.

Через все невзгоды и страдания пронес Иван Иванович Пущин (1798—1859) неиссякаемую любовь к другу своей лицейской юности. Задушевное слово великого поэта встретило ссыльного декабриста в Читинском остроге, и он воздал ему сторицей за тепло и участие. «Больше других о прошлом говорил И. И. Пущин, — вспоминал один из его ялutorовских приятелей. — Он часто рассказывал о своей дружбе с Пушкиным, о самом поэте, о литературных собраниях, на которых Александр Сергеевич читал друзьям свои стихи. У Пущина было много собственноручных писем и рукописей Пушкина, которые Иван Иванович показывал собеседникам»⁵⁰. Не было среди декабристов более страстного, чем он, защитника доброго имени Пушкина, энергичного пропагандиста его творческого наследия, ревностного собирателя и хранителя драгоценных пушкинских реликвий. Репутация «рыцаря без страха и упрека», удивительная цельность натуры, благородное поведение в самые трудные минуты жизни придавали особый вес каждому слову Пущина. Однако и ему, по-видимому, не удалось избежать соблазна «поправить» текст послания «В Сибирь», придав стихотворению более радикальный оттенок.

Список Послания, принадлежавший М. Н. Волконской, и его «двойник» в тетради «заветных сокровищ» Пущина⁵¹, несомненно, восходит к одному протографу. В каждом из них последняя строка третьей строфы читается: «доходит мой призывный глас». Так и записал ее первоначально Пущин, но потом над словом «призывный», не зачеркнув его, поставил эпитет: «свободный». Трудно счесть эту замену удачной. Эпитет «призывный» более точно передавал чувства и мысли поэта, «призывавшего» друзей к «терпению», «надежде», вере в грядущую «свободу». Трудно было Пушкину, вынужденному нелегально, со всеми предосторожностями, посылать слово приветия мученикам Декабря, назвать себя «свободным». В то же время «свободный глас» звучал гораздо революционнее «призывного»; кроме того, узникам «каторжных нор» мог и вправду представляться «свободным» голос поэта, вернувшегося в большой мир из михайловского изгнания.

Характерно, что в более позднем списке Послания, принадлежавшем Пущину (туринско-ялutorовская тетрадь 1841—1842 гг.)⁵², уже нет никаких разночтений («доходит мой свободный глас»), зато в списке оды «Вольность» из той же тетради встречаются новые следы «творческой» работы переписчика над пушкинским текстом. Среди мно-

жества мелких разночтений, неносящих индивидуальной окраски («любимцы» вместо «питомцы ветреной судьбы», «дает закон, а не порода» вместо «природа» и др.), обращает на себя внимание одно зачеркнутое слово в предпоследней строке оды. «И станут вечной стражей трона народов вольность и покой», — так было у Пушкина. Но декабристу Пущину не понравился эпитет «вечный» в сочетании со словом «трон», он зачеркнул его и заменил «верной стражей».

«Свободный глас» проник во все поздние списки и в заграничную публикацию запретного пушкинского стихотворения на страницах лондонского журнала Герцена «Полярная звезда» (кн. 2, 1856). Первая русская публикация текста Послания с этим эпитетом в составе «Записок» декабриста Н. И. Лорера⁵³ прочно закрепила его в сознании читателей. Но не будем забывать, что лореровские списки послания «В Сибирь» в «Записках» и в альбоме, подаренном престарелым декабристом графине Александре Алексеевне Капнист⁵⁴, появились уже после выхода в свет второй книжки «Полярной звезды», и это, на наш взгляд, значительно снижает их авторитетность.

Недоверчивый читатель может выдвинуть контргипотезу: эпитеты «призывный» и «свободный» перешли в списки из разных авторских вариантов. Может быть... Пока не найдено ни одного автографа Послания, спор этот будет беспредметным. Безусловно только одно — вопрос о каноническом тексте пушкинского послания «В Сибирь» остается открытым.

В очерке, посвященном читательской судьбе Послания, мы никак не можем обойти молчанием человека, с именем которого неразрывно связана запретная слава стихотворения Пушкина. Богатством, красотой, талантом щедро одарена природа потомка Рюриковичей князя Александра Ивановича Одоевского (1802—1839). «Его пылающая душа кажется огненным лучом, отделившимся от солнца», — написал кто-то из друзей на портрете безвременно угасшего в болотах Копхиды поэта-декабриста⁵⁵. Одним из первых Одоевский прочитал Послание Пушкина и тут же откликнулся на него ярким революционным стихотворением. Судя по многочисленным перефразировкам («к мечам рванулись наши руки», «мечи скуем мы из цепей»), пушкинский образ «возвращенного меча» послужил мощным импульсом для творческого воображения узника. Вместе с тем его «Ответ» содержит определенную внутреннюю полемику с ве-

ликим поэтом. Одоевский явно не приемлет призыв Пушкина к «терпению» — для него это значит смириться, признать свое поражение. Не только надежда на грядущее избавление придавала «бодрость и веселье» ссыльному декабристу, но и чувство исполненного долга («...цепями, своей судьбой гордимся мы...»). Его не привлекал тоскливый жребий мученика, пассивно ожидающего освобождения по милости царя, времени или будущей революции. Нет, он и в оковах борец, тираноненавистник.

В сознании современников и потомков пушкинское послание «В Сибирь» и «Ответ» на него А. И. Одоевского слились в идейно нерасторжимое целое. Революционный пафос «Ответа» заставил по-новому звучать строки Послания. Пушкин-философ превратился в Пушкина-революционера, вера в непреборимую силу времени преобразалась в радостное предчувствие революционной бури. Так «прочитали» послание «В Сибирь» Одоевский и его друзья, и не только сами «прочитали», но сумели внушить свое истолкование пушкинских строк другим читателям.

«Оба эти стихотворения появились в Иркутске в рукописных списках в одно и то же время. Так рассказывали сибиряки», — сообщает в примечании к стихам Пушкина и Одоевского владельца одной из «заветных тетрадей» 1860-х годов Елизавета Федоровна Сверчкова⁵⁶. Ее отец, новоторжский помещик, много лет служил землеустроителем в Сибири. Там он, по-видимому, и познакомился с творчеством поэтов-декабристов. Любовь к запретному слову перешла по наследству от отца к дочери. Составленная в захолустном «дворянском гнезде» (село Ильинское Тверской губернии) антология вольной русской поэзии XIX столетия поражает своим богатством: здесь и Послание Пушкина и «Ответ» Одоевского, юношеские стихи, думы и агитационные песни Рылеева, «Войнаровский», переписанный со второго парижского издания 1857 года, послание «К друзьям» декабриста В. Ф. Раевского, «На смерть поэта» Лермонтова, «Двуглавый орел» Курочкина и довольно посредственное стихотворение Н. М. Языкова «Свободы гордой вдохновенье!..», приписанное Рылееву и датированное 1824 годом.

Интерес русского общества к антиправительственной литературе был настолько велик, что стоило какому-либо поэту обильно «уснастить» самые неприхотливые плоды своей музыки словами «свобода», «вольность», «адское иго самовластья» — и его тут же «производили» в «Пушкины» или «Рылеевы». Можно представить, какое впечатление

произвели на современников страстные, талантливые строки «Ответа» Одоевского.

Не удивительно, что многие читатели 1830—1840-х годов видели в Пушкине духовного наследника декабристов. Об этом косвенно свидетельствуют их непрестанные попытки «усилить» радикальное звучание пушкинского послания «В Сибирь».

Потомок миллионера-меховщика, обладатель огромного состояния, известный русский библиограф и библиофил прошлого столетия Григорий Николаевич Геннади (1826—1880) всю жизнь кропотливо собирал и систематизировал материалы для будущей истории отечественной словесности. Его богатейшая библиотека и коллекция рукописей многое могли бы рассказать о литературных и политических симпатиях их владельца, поместившего в своем знаменитом «Справочном словаре о русских писателях» первую исчерпывающе полную библиографию сочинений поэта-декабриста А. А. Бестужева. К сожалению, после смерти библиографа все эти сокровища были распроданы с молотка дрезденскими букинистами, и только часть из них попала в петербургскую Публичную библиотеку. Здесь, среди бумаг Геннади, хранится тетрадь запретных стихов русских поэтов: список приписанной Пушкину басни Давыдова «Голова и Ноги», пушкинской сатиры на Екатерину II «Насильно Зубову мила старушка добрая жила приятно и немного блудно...», агитационной песни Бестужева и Рылеева «Ах, где те острова...» со значительными разночтениями и, наконец, послания «В Сибирь»⁵⁷. Текст Послания на бумаге 1860-х годов вполне ординарен, но его последняя строфа начинается неожиданно:

«...Мужайтесь!
Оковы тяжкие падут...» и т. д.

Чтобы лучше понять смысл этой «вставки», обратимся к другому списку послания «В Сибирь», хранящемуся в коллекции знаменитого сибирского библиофила Г. В. Юдина в Красноярском краевом архиве:

...Мужайтесь! Русского народа
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут, и свобода
Вас встретит радостно у входа,
И братья меч вам отдадут⁵⁸.

Естественно, не может быть и речи о принадлежности Пушкину этой «вставной» строки, ломающей строфику

подлинника (5 строк вместо четырех у Пушкина). Но это не остановило неизвестного «соавтора» великого поэта. Пусть злополучная строка не укладывалась в формы пушкинского стиха — не беда, зато в «дополненном» виде Послание приобрело ту недвусмысленную революционную направленность, которая исключала любые сомнения в чувствах и намерениях Пушкина.

Поиски первых читателей пушкинского послания «В Сибирь» приводят нас в кружок питомцев преподавателя русской словесности Благородного пансиона при Московском университете, талантливого педагога и посредственного стихотворца Семена Егоровича Раича (1792—1855). Целую плеяду блестящих поэтов (М. Ю. Лермонтова, Д. В. Веневитинова, Ф. И. Тютчева, Д. П. Ознобишина и др.), писателей и ученых выпестовал этот скромный, незаметный человек. Член «Союза благоденствия» Раич рано отошел от активной политической деятельности, но даже в трудные дни николаевской реакции не изменил идеалам молодости. Уроки любимого наставника были праздником для благодарных и внимательных учеников. Но особенно светлые воспоминания сохранились у них о дружеских встречах в литературном салоне Раича и на заседаниях основанного воспитанниками пансиона Общества Любомудров. По четвергам и субботам сходились за дружеским столом Д. В. Веневитинов, П. А. Вяземский, братья И. В. и П. В. Киреевские, А. И. Кошелев, В. Ф. Одоевский, Д. П. Ознобишин, М. П. Погодин, С. Д. Полторацкий, С. П. Шевырев, Н. М. Языков и многие другие пансионеры, оставившие заметный след в истории русской культуры. Атмосфера здесь царила самая непринужденная. Молоды были и ученики и учителя. Серьезный философский спор незаметно перерастал в «турнир» поэтов, чтение реферата на экономические темы прерывалось задорной шуткой, острой эпиграммой. Иногда «на огонек» к ученикам Раича заезжали маститые поэты — И. И. Дмитриев и петербургский гость В. А. Жуковский, — но бывали у них посетители совсем иного рода. «Никогда не забуду одного вечера, проведенного мною, семнадцатилетним юношей, у внучатого моего брата Михаила Михайловича Нарышкина («любомудра» и будущего декабриста. — *И. М.*), — вспоминал впоследствии видный общественный деятель, публицист-славянофил А. И. Кошелев, — это было в феврале или марте 1825 года. На этом вечере были Рылеев, князь Оболенский, Пущин и некоторые другие, впоследствии сосланные в Сибирь. Рылеев читал

свои патриотические думы; а все свободно говорили о необходимости — d'en finir avec ce gouvernement (покончить с этим правительством). Этот вечер произвел на меня самое сильное впечатление»⁵⁹.

Можно представить себе горе и ужас одного из членов кружка Раича — юного офицера, адъютанта генерал-губернатора Финляндии Николая Васильевича Путяты (1802—1877), ставшего свидетелем казни Рылеева и его товарищей. «Несколько ночей сряду я не мог спокойно заснуть, — писал он в своем дневнике, — лишь только глаза мои смыкались, мне представлялась виселица и срывающиеся с нее жертвы»⁶⁰. Дружба с поэтом Е. А. Баратынским, завязавшаяся в Гельсингфорсе, открыла перед Путятой двери дома Пушкина в Москве. Все, близко знавшие Николая Васильевича, отмечали его принципиальность и скромность. В отличие от многих мимолетных приятелей Пушкина, Путята не любил афишировать свое знакомство с гением русской поэзии. Однако много нитей связывало этих людей в период, когда явилось в свет пушкинское послание «В Сибирь».

Тем интереснее для нас три списка Послания, сохранившиеся в бумагах Путяты. Два из них мы найдем в дневнике Николая Васильевича 1842—1852 годов (здесь же записан рассказ о казни декабристов)⁶¹. Оба они озаглавлены: «1826 год», но в первом списке нет третьей строфы, а в последней строке четвертой строфы вместо «меч вам отдадут» употреблен глагол «подадут». Вспомним, что те же особенности характерны и для бартеневского списка, продиктованного ему Соболевским. Итак, показания двух близких приятелей Пушкина — возможных очевидцев создания послания «В Сибирь» и его первых читателей — сходятся. Что это — случайное совпадение или недвусмысленное подтверждение существования нескольких вариантов Послания (с третьей и без третьей строфы, с «мечом» и без оногo, с глаголом «отдадут» и «подадут», с «призывным» и «свободным гласом»)? Ответ на этот сложный вопрос предстоит найти будущим исследователям. А пока возвратимся к спискам Путяты. Текст второго, более позднего, списка ничем не примечателен (это уже «выправленный» вариант); а в третьем — Послание немилосердно искажено («храните, гордые, терпенье», «оковы тяжкие спадут» и т. п.). Этот список сохранился в тетради Путяты, озаглавленной «Разные стихотворения, пользовавшиеся некогда рукописною или карманною славою»⁶².

На первый взгляд можно было бы обойти молчанием вполне ординарный список послания «В Сибирь» и «Ответа» Одоевского из собрания вольной поэзии другого «любоумра» — поэта Дмитрия Петровича Ознобишина (1804—1877)⁶³. Правда, в Послании поменялись местами вторая и третья строфы, в тексте «Ответа» отдельные строки звучат необычно («струн вещей памятные звуки», «она нагрет на царей» и др.), а самую крамольную из них («в душе смеемся над царями») густо замарал чернилами какой-то благонамеренный потомок Дмитрия Петровича, но все эти столь характерные для рукописного бытования запретного стихотворения ошибки и «автоцензурные» пометки трудно даже назвать разночтениями. Интересно другое — то, что эти стихи оказались в бумагах симбирского помещика, тесно связанного в 1830—1840-е годы со многими «культурными гнездами» русской провинции.

Выступив в печати под экзотическим псевдонимом, Делибюрадер (что означает в переводе с персидского языка Сердце брата), молодой ученый-ориенталист впервые познакомил русских читателей с поэзией народов Востока. Изящные переводы из Хафиза, Саади и Низами, оригинальные лирические послания открывали перед Ознобишиным путь на вершины российского Парнаса. Однако ученику Раича, человеку философского склада ума, быстро надоели литературные дразги и назойливая «опека» московских жандармов над «пишущей братией», и он, выйдя совсем еще молодым человеком в отставку, навсегда удалился в родовое имение. Здесь Дмитрий Петрович смог наконец целиком отдаться любимым занятиям — изучению восточных языков, фольклора и самобытной поэзии мусульманских народов Поволжья. Время от времени Ознобишин навещал своего соседа, старого знакомого по кружку Раича — поэта Николая Михайловича Языкова (1803—1846). Воспитанник дерптских профессоров-вольнодумцев, Языков не утратил еще боевого задора молодости.

Не вы ль, убранство наших дней,
Свободы искры огневые,—
Рылеев умер, как злодей! —
О, вспомяни с ним, Россия,
Когда восстанешь от цепей
И силы двинешь громовые
На самовластие царей,—

писал он 7 августа 1826 года, получив известие о казни руководителей декабрьского восстания⁶⁴. Несколько лет-

них месяцев этого года, проведенных Языковым в Тригорском, навсегда скрепили его дружбу с михайловским изгнанником. И нередко в уединенный дом «вечного» студента приходили вести от Пушкина. Может быть, именно здесь Ознобишин прочитал впервые послание «В Сибирь» и списал его в свою «заветную тетрадь».

Страстной почитательницей запретной пушкинской музыки была казанская приятельница Дмитрия Петровича — хозяйка известного литературного салона Александра Андреевна Фукс. «Познакомившись с ним, — писала она, побывав в гостях у Ознобишина, — как не пожалеешь, что таких молодых людей, которые не понапрасну проводят молодость, у нас мало. Я видела его библиотеку и получила позволение брать из нее книги... Одним словом, я от него в восхищении»⁶⁵. Александра Андреевна не случайно пришла в восторг от ознобишинской библиотеки. На ее полках можно было обнаружить не только фундаментальные труды по ориенталистике, богато орнаментированные арабские рукописи и комплекты новейших журналов чуть ли не на всех европейских языках, но и рылеевские «Думы», список «Горя от ума», полученный хозяином дома «из первых рук», запретные лондонские издания⁶⁶.

Сотни нитей связывали русскую интеллигенцию. Поэтому стоило только запретному стихотворению попасть к такому человеку, как Языков или Ознобишин, и оно немедленно становилось известным широкому кругу читателей. Списки множились с небывалой быстротой. Пока полицейские ищейки гонялись за одним, в свет являлись десятки новых.

В удушливой атмосфере всеобщего пресмыкательства перед торжествующим деспотом независимая позиция поэта, не утратившего веры в идеалы добра и справедливости, вызывала у одних ненависть, у других — уважение и симпатию. Заточенные в «мрачных пропастях земли» декабристы с нетерпением ждали каждого слова старого друга; его юношеские стихи «Вольность», «Деревня» и «К Чаадаеву» продолжали распространяться в списках, переходя из рук в руки. Именем Пушкина подписывались чуть ли не все «возмутительные» сочинения, что придавало им вес и авторитетность. Еще в восемнадцатом столетии, в «златые дни» Екатерины II, русские писатели и читатели в совершенстве овладели искусством писать и читать между строк, свободно ориентируясь в сложном лабиринте аллегорий, намеков и аллюзий. Вся мыслящая Россия с жадностью

искала в новых творениях пушкинской музыки подтверждения того, что поэт не сломлен, не капитулировал перед грубой силой, и находила их в стихотворениях «Арион» и «19 октября», в заключительных главах «Евгения Онегина».

Широкое распространение получили его стихи, не относившиеся к декабрьскому восстанию, но путем переделок приуроченные к этому событию — строфы из элегии «Андрей Шенье» под заголовком «На 14 декабря» и «Свободы сеятель пустынный...» в новой интерпретации⁶⁷. Фонд «вольной» поэзии и дальше существенно пополнялся за счет переосмысления каждой «подозрительной» пушкинской строчки. Современники не просто читали стихи Пушкина, а сплошь и рядом вычитывали из них то, чего им хотелось, чего они ждали. Либерально настроенный человек буквально цеплялся за всякий повод, чтобы усмотреть вольномыслие там, где его подчас и не было⁶⁸.

В годы николаевской реакции пушкинские стихи стали важным фактором русского освободительного движения. «Только звонкая и широкая песнь Пушкина,— писал А. И. Герцен,— раздавалась в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, наполнила своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее. Поэзия Пушкина была залогом и утешением»⁶⁹.

«ВСЕ ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЕ РУКОПИСИ ХОДИЛИ ПОД МОИМ ИМЕНЕМ...»

Так писал Пушкин В. А. Жуковскому вскоре после восстания декабристов. Поэт был прав. Могучая сила дарования, магия гениальной личности, как это часто бывало в истории мировой литературы, втягивала в свою орбиту менее значительные имена. Естественно, что запрещенные, презревшие печатный станок стихотворения в сознании читателя-переписчика приписывались знаменитому автору вольнолюбивых сочинений — А. С. Пушкину. Так, за подписью Пушкина в 1820-х гг. начинают встречаться басни Давыдова, о которых шла речь в первой главе, П. А. Вяземского, Н. М. Языкова и других. Сам Вяземский в 1869 году, спустя более тридцати лет после смерти Пушкина, писал П. И. Бартеневу: «Нельзя не заметить, что вообще как у нас, так и в заграничных изданиях нередко приписываются Пушкину стихи, в которых он не виноват ни душой, ни телом»¹. При этом зачастую имена истинных авторов утрачивались, и до сих пор принадлежность многих псевдопушкинских стихов остается неустановленной.

Особенно это относится к многочисленным эпиграммам, которые, будучи широко известны, многократно включались даже в авторитетные собрания сочинений Пушкина. Поэт не любил Александра I, по собственным словам, всю жизнь ему «подсвистывал». В так называемой X главе «Онегина» о царе сказано: «Властитель слабый и лукавый». В юношеской эпиграмме император сравнивался с лицейским дядькой Александром Павловичем Зерновым:

Один на кухне нос сломил,
Другой под Австерлицем.

Не удивительно поэтому, что Пушкину долго приписывалась эпиграмма на смерть Александра I, любившего путешествовать и в последние годы жизни постоянно переезжавшего с места на место:

Всю жизнь провел в дороге
И умер в Таганроге.

После восстания декабристов Николай I вызвал к себе Пушкина, долго беседовал с ним, обещал свое покровитель-

ство, освобождение от цензуры. Поэт не подозревал, как трагически сложатся в будущем его отношения с царем. В эту пору он, хваливший императора в стихах «Стансы» и «Друзьям», конечно, не мог писать на него эпиграммы, а другие писали. Эпиграммы расходились по стране и приписывались Пушкину. Таков, например, непосредственный отклик на казнь декабристов:

Едва царем он стал,
То разом начудесил:
Сто двадцать человек тотчас в Сибирь послал
Да пятерых повесил.

Или надпись к бюсту Николая I:

Оригинал похож на бюст:
Он так же холоден и пуст².

Как велико было влияние Пушкина, с какой готовностью читательское сознание приписывало знаменитому поэту любой стихотворный текст, свидетельствуют известные строки из «Записок сумасшедшего». Герой знаменитого рассказа Гоголя, бедный чиновник Поприцин заносит в свой дневник: «Дома большею частью лежал в кровати. Потом переписывал очень хорошие стишки: «Душеньки часок не видя, думал, год уж не видал; жизнь мою возненавидя, лъзя ли жить мне, я сказал». Должно быть, Пушкина сочинение». Стремясь показать духовное убожество своего героя, Гоголь заставляет Поприцина приписать Пушкину стихи очень слабого поэта XVIII века Н. П. Николева.

Подобно Поприцину, приписал Пушкину беспомощное и странное стихотворение составитель сборника, хранящегося в Рукописном отделе Института русской литературы в Ленинграде. Он называется: «Собрание разных стихотворений в шести частях. Часть I, 1826»³. Владельцы и читатели сборника оставили свои имена на его страницах (что встречается не часто). Внизу 231-го листа находится рисунок с надписью: «Иван Грен», на обороте 228-го листа — рисунок с инициалами: «А <лександр> Г <рен>», на листе 238 — расположенная столбиком запись:

Читали
кадетского корпуса кадет Грен
Александр фон Грен
И. В. Иванов сын С. П. М...а
Николай Селезнев

Записи показывают, что сборник принадлежал семейству Грен. Из всех Гренов, чьи имена здесь встречаются, некоторую, правда скорее отрицательную, известность приобрел лишь Александр Евгеньевич Грен. Это был весьма ограниченный и бездарный человек с каким-то болезненным литературным честолюбием. Он бешено жаждал печататься и после смерти Пушкина, в 1838 году, опубликовал в журнале поэта, который редактировал тогда П. А. Плетнев, «Воспоминания о Пушкине», где рассказывается, как гениальный поэт вместе со своим другом Дельвигом водил мемуариста, которому тогда было 13 лет, в балаган ярмарочного силача Рапо. Во второй части «Воспоминаний» сообщается, как Пушкин оказал благодеяние некоей бедной вдове (как выясняется из неопубликованного письма к Плетневу, якобы матери самого автора «Воспоминаний»), и приводится сочиненное по этому случаю письмо Пушкина к благодетельствованной женщине⁴.

Возможно, в основе рассказа о посещении ярмарочного балагана и лежит какой-то достоверный факт. В дальнейшем же Грен принимается безудержно фантазировать, а фантазия у него была убогой, и спустя некоторое время он сочинил по уже готовой модели историю о Гнедиче, который тоже благодетельствовал бедную пожилую женщину. Этот нелепый опус Плетнев не напечатал⁵, и Грен продолжал свои неуклюжие мистификации уже в других изданиях. Исчерпывающую характеристику его «деятельности» дал известный ученый, исследователь творчества Пушкина Н. О. Лернер: «Этот Грен вообще был личностью довольно темной и доверия не заслуживал. Еще в 1830 г. он был уличен в плагиате. Впоследствии он сочинял письма Пушкина к фантастической «бедной вдове», к Дельвигу, к никогда не существовавшей княжне Абамелек, или записки Баратынского к Пушкину. Все эти упражнения так ничтожны и жалки, что никого не могли ввести в заблуждение и лишь характеризовали самого неудачника-мистификатора»⁶.

Упомянутый сборник вполне отвечает тому представлению, которое складывается о составителе по его литературной деятельности. В 1826 году, к которому относятся первые записи, Грену было 19—20 лет (по собственному свидетельству, в 1820 году он был тринадцатилетним мальчи-

ком⁷). Жадно интересуясь литературой, особенно потаенной, Грены переписывали на заветных листах все, что удавалось достать по этой части: Д. Давыдова, Рылеева (очень много), Пушкина и др. Переписывали небрежно, безграмотно, с испорченных, до неузнаваемости искаженных списков. Так, в стихотворении «Деревня» вместо «присвоило себе насильственной лозой» написана бессмыслица: «насильственной слезой», а под окнами поэта на лугах средне-русской полосы появились кедры: «Сей луг, уставленный душистыми кедрами» (вместо: скирдами) и т. д.

Составители имеют весьма смутное представление об истинных авторах переписываемых ими произведений. Естественно, что при этом особенно не повезло Пушкину. Его именем подписаны басни Дениса Давыдова, стихи Шаликова и бездарные сочинения неведомых рифмоплетов, стихи вроде тех, что приписывал Пушкину Поприщин. Подписано именем Пушкина и стихотворение «Раскаянье», то ли просто неумелое, то ли сильно испорченное при переписке: прямая бессмыслица, поломанный размер, убогая рифма — однако весьма интересное по содержанию. Приводим полностью его текст⁸:

Я не поэт, возьмите лиру!
Сорвите розовой с моей главы венки!
Я не поэт, дерзнул коль славить миру
Не добродетель — но порок.
Я омрачил достойное искусство
Поносной песнию своей,
И негодующее чувство
Теперь кипит в душе моей!
Я омрачил свою певицу *
И ознакомив ею лесть,
Забыл богини гордой честь,
Унизив истинну певицу!

О музы! я не ваш, почто свою вы мечь

Доселе ниспослали
И недостойного певца
Почто доселе не лишали
Лаврового венца,
Которым вы его неправо украшали.

О музы! я не ваш! с пороком соединяюсь,

Не уважая правды честь,
Не сохранив ее, поклонником быв лести,
Я должен рушить с вами связь,
Я не поэт, мою разбейте лиру,
Сорвите розовой с моей главы венки!
Я не поэт, дерзнул коль славить миру
Не добродетель, но порок.

* Может быть, певицу (М. А., П. М.).

С точки зрения сочинителя этих стихов, поэт в чем-то виноват, он раскаивается в содеянном, готов даже вовсе отречься от своего творчества: «Я не поэт, возьмите лиру...» Сборник, как уже говорилось, начал составляться в 1826 году. Лист 215, на котором записано стихотворение, естественно, заполнялся позднее.

В декабре 1826 года Пушкин написал стихотворение «Стансы» («В надежде славы и добра гляжу вперед я без боязни...»). В этих стихах он сравнивал Николая с Петром I и выражал надежду, что под управлением нового царя Россия пойдет по пути реформ и преобразований. Напечатанные в январе 1828 года «Стансы» были восприняты многими читателями как лесть царю и измена поэта прежним убеждениям.

И в стихотворении, сохраненном для нас сборником Грена, неведомый читатель сочинил строки, в которых заставил поэта заклеить самого себя за позорные, с точки зрения общественного мнения, произведения. Главное в этих стихах — саморазоблачение. «Пушкин» обвиняет себя в лести: «ознакомив лесть», «поклонником быв лести», т. е. очевидно, речь идет о стихотворениях, обращенных к Николаю I. Так читатели сами защищали любимый образ независимого поэта от малейшего нравственного пятна. А новые стихотворения продолжали возникать и по-прежнему распространяться с именем Пушкина.

* * *

Прошло едва десять дней с того рокового утра, когда пять трупов закачались на кронверке Петропавловской крепости, а 24 июля 1826 года М. Я. фон Фок, управляющий III отделением, доносил своему непосредственному начальнику, шефу жандармов Бенкендорфу, о появлении возмутительных стихов, распространяемых племянником известного адмирала, министра просвещения А. С. Шишкова, Владимиром Ардалионовичем Шишковым⁹. Следствие выяснило, что автором этих стихов был юнкер Василий Яковлевич Зубов. Николай I круто расправился с новыми вольнодумцами. И Владимир Шишков, несмотря на близкое родство с министром, и дерзкий автор были посажены в сумасшедший дом, где провели три месяца. Зубов потом был сослан рядовым на Кавказ. В 1831 году его произвели в унтер-офицеры. В 1832—1834 гг. в московских изданиях иногда появлялись его стихи. Затем следы его теряются¹⁰.

Не удивительно бешенство, в которое пришел царь, ознакомившись со стихами Зубова: в них говорилось о восстании у «мертвых невских берегов», они грозили мучительными казнями «другому тирану». Автор их, по всей вероятности, сознательно подражает вольнолюбивым стихам Пушкина, прямо опираясь на поэтические формулы великого поэта. Особенно часты реминисценции из послания «К Чаадаеву»:

Придет ли тот великий день,
Когда для русского народа
Исчезнет деспотизма тень
И встанет гордая свобода?

(Сравни: «взойдет она, звезда пленительного счастья».)

Но луч надежды золотой
Исчез, как призрак сновидений...

(Сравни: «Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман».) С этими же строками связана и предпоследняя строфа стихотворения Зубова:

И не спасешься ты, тиран,
Рабов приверженцев толпою:
Они исчезнут пред грозой,
Как обольстительный туман.

Начало же представляет собою перифраз «Деревни»:

Взойдет ли, наконец, друзья,
Среди небес родного края
Давно желанная заря —
Заря свободы золотая?

(Сравни: «И над отечеством свободы просвещенной
взойдет ли наконец прекрасная заря?».)

А в середине стихотворения мы встречаемся с точной цитатой из «Вольности»:

И снова грозный рабства гений
Над нашей вьется головой,
И, пламенея жаждой мщенья,
Другой тиран гнетет народ.

(Сравни: «Везде неправедная власть Воссела — рабства грозный гений».)

Естественно, что такие стихи вызывали живой интерес читателей. Их переписал Владимир Шишков, дал списать своему приятелю, чиновнику-библиографу В. Д. Комов-

скому, который познакомил с ними своего двоюродного брата. От этого стихи попали к некоему Лахману, а затем — секретарю коллегии Мазалину. (О последнем фюф Фок писал, что он известен в «органах надзора прямой своего образа мыслей»¹¹.)

Как видим, произведение Зубова сразу после создания получило известное распространение. Третьему отделению не удалось изъять из обращения крамольные стихи, и они в кругах свобододолюбцев пользовались некоторой известностью, а спустя несколько десятилетий были печатно приписаны Пушкину.

Произошло это следующим образом. В 1871 году редакция журнала «Русская старина», во главе которого стоял крупный историк М. И. Семевский, получила в качестве материала для характеристики эпохи 1820-х гг. письмо генерал-майора Ивана Никитича Скобелева, который с негодованием доносил по начальству о распространении стихов Пушкина, «которые повсюду ходили под именем «Мысль о свободе». В конце письма Скобелев писал: «Если б сочинитель вредных пасквилей <Пушкин> немедленно в награду лишился нескольких клочков шкуры — было бы лучше. На что снисхождение к человеку, над коим общий глас благомыслящих граждан делает строгий приговор»¹². «Я не имею у себя стихов сказанного вертопраха Пушкина,— сообщает Скобелев,— которые повсюду ходят под именем: *мысль о свободе*. Но судя по возражениям, ко мне дошедшим (также всюду читающимся), они должны быть весьма дерзки; последние осмеливаюсь представить»¹³. Письмо Скобелева датировано 17 января 1824 года. В нем, очевидно, речь идет прежде всего об оде «Вольность». Эту оду и послание «К Чаадаеву» имеет в виду и Николай Цибульский, чьи стихи «Мысль Россиянина о свободе. Возражение» Скобелев, очевидно, и приложил к своему письму.

Вначале Цибульский полемизирует с «тихой славой», от которой отрекся поэт в послании «К Чаадаеву»:

Не ты ль во цвете ранних лет,
Презрев обычай наш и нравы,
Клятвopеступный дал обет
Изгнать желанье прочной славы?

Далее прямо названа «Вольность», распространявшаяся, как мы говорили, под заглавием «Ода на свободу»:

Не ты ль свободу громко звал,
Прельстясь игрою заблуждений?
Куда завел тебя твой гений?
На чем ты счастье основал?

Затем в длинных рассуждениях доказывается на исторических примерах порочность народовластия, и автор заканчивает свое пространное (200 стихов) сочинение выражением верноподданнического восторга:

Великодушный государь!
Тебя любить — моя свобода!
Да в мире царствует наш царь
Для славы русского народа!¹⁴

Из письма Скобелева явствует, что копией крамольных стихов он не располагал, а может быть, и не читал их, довольствуясь лишь возражениями и слухами о вертопрахе Пушкине. Редактор «Русской старины» соотнес упоминание «Мыслей о свободе» со стихами Зубова, которые были известны ему, по всей видимости, без имени автора. Возможно, он решил попытаться напечатать под именем Пушкина еще одно вольное стихотворение, не вдаваясь в детальное исследование имени автора. Готовя письмо к печати, он пишет: «Приводим это стихотворение, которое, сколько известно, не было еще напечатано в России, хотя для многих не составляет новости». Затем конец фразы исправляется явно с целью обмануть цензуру: «Приводим это стихотворение в том виде, как оно было напечатано в собрании сочинений Пушкина»¹⁵. Однако попытка воспользоваться именем Пушкина (времена сильно изменились, имя поэта канонизировано, постепенно в качестве «грехов молодости» появляются его запретные стихи) окончилась неудачей. В «Русской старине» с именем Пушкина были опубликованы лишь четыре первые строки стихотворения Зубова. Почти полностью (без последней строфы) они были напечатаны уже после революции, в 1926 году, вместе со сведениями о следственном деле Зубова¹⁶. А целиком лишь в 1970 году¹⁷. Кстати сказать, в следственном деле и официальной переписке они фигурируют без названия. Возможно, заглавие «Мысли о свободе» было дано стихам в редакции «Русской старины».

* * *

В 1827 году в руки жандармов попало стихотворение, адресованное Александру Гавриловичу Ротчеву¹⁸, студенту Московского университета. В одном из писем Ротчев

жаловался своему другу Александру Ардалионовичу Шишкову «на невольную грусть, которая с некоторого времени им овладела и не дает ему заниматься чем-нибудь полезным»¹⁹. Шишков отвечал стихами:

Велико, друг, поэта назначенье,
Ему готов бессмертия венец...

Грусть Ротчева носила явно общественный характер. «Некоторое время» — это явно время, протекшее со дня восстания и казни декабристов. Внушая адресату мысль о важности поэтического поприща, поэт далее утешает друга, прибегая к типичным формулам пушкинской вольнолюбивой лирики:

Души возвышенной порывы
Сильнее власти роковой,
Высоких дум хранитель молчаливый,
Он не поет пред мертвою толпой,
Но избранным приятна песнь Баяна,
Она живет любовь к стране родной,
И с ней выходит из тумана
Заря свободы золотой,
Боготворимой, величавой²⁰.

Первые две строки этого пассажа непосредственно связаны с пушкинским посланием «К Чаадаеву»:

Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы...
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой...

А предпоследняя строка дословно повторяет строчку уже известного нам стихотворения В. Зубова:

Взойдет ли, наконец, друзья...
*Заря свободы золотая?*²¹

Стихотворение Зубова было, несомненно, известно автору послания к Ротчеву, ибо Владимир Шишков, пострадавший вместе с Зубовым, был родным братом Александра, уже давно находившегося в сильном подозрении у начальства и привлекавшегося по делу декабристов. Тогда он был освобожден по недостатку улик и благодаря заступничеству влиятельного дяди.

Хорошо были известны А. А. Шишкову и стихи Пушкина. С молодым поэтом Шишков подружился еще в Царском Селе и стал адресатом одного из лучших дружеских посланий Пушкина, где он был назван:

Шалун, увенчанный Эратой и Венерой...

Пушкин высоко ценил поэтический талант Шишкова и называл его «золотым». Он принял живое участие в посмертном издании сочинений своего царскосельского друга.

Не успели власти активно заняться автором крамольного послания к Ротчеву, как в их руки попало еще одно и куда более опасное для сочинителя стихотворение Шишкова, написанное вскоре после восстания и обращенное непосредственно к царю: *

Когда мятежные народы,
Наскуча властью роковой,
С кинжалом злобы и мольбой
Искали бедственной свободы,
Им царь сказал: «Мои сыны,
Законы будут вам даны,
Я возвращу вам дни златые
Благословенной старины».
И обновленная Россия
Надела с выпушкой штаны ²².

Как и послание к Ротчеву, это стихотворение находится под сильнейшим влиянием пушкинской стилистики. Вместе с тем оно содержит и некоторую внутреннюю полемику с великим поэтом.

Мы уже говорили о том духовном кризисе, который вызвал у Пушкина горькие строки стихотворения «Свободы сеятель пустынный»:

Паситесь, мирные народы...

Восстание на Сенатской площади, с точки зрения Шишкова, показало, что народы не мирные и пастись не хотят. Он начинает стихотворение с эпитета, противопоставленного пушкинскому. Его «мятежные народы» восстают против роковой власти, о которой писали и Пушкин и Шишков. Третья строка снова возбуждает в читателе пушкинские ассоциации, отсылая его к стихотворению «Кинжал». «Последний судия позора и обиды» стал у Шишкова «кинжалом злобы».

Стихотворение, в отличие от политических, программных произведений Пушкина, стилистически неоднородно. Первые четыре строки, выдержанные в духе высокой

* «...Шишков в сочинении сих стихов чистосердечно сознался... оные относятся лично к особе его величества...» (Письмо И. И. Дибича цесаревичу Константину Павловичу от 9 ноября 1827 г.— В. С. Шадури. Друг Пушкина А. А. Шишков и его роман о Грузии... С. 356).

гражданской лирики, противостоят второй, эпиграмматической части: трагедии декабристского восстания противостоят «государственные» замыслы царя, введшего в 1826—1827 гг. новую форму для военного и гражданского ведомств. Поэтому при переписке стихотворение иногда утрачивало первые строки и распространялось как политическая эпиграмма: «Деспот сказал...» и т. д. Однако во всех случаях стихотворение приписывалось Пушкину. С именем Пушкина оно и было впервые напечатано в Лондоне в сборнике «Русская потаенная литература», изданном Герценом и Огаревым в 1861 году. Только в 1914 году была документально доказана его принадлежность А. А. Шишкову²³.

Судьба Рылеева — поэта и общественного деятеля — сложилась необычно. Чуть ли не сразу литературный дебют принес смелому отставному подпоручику не просто известность, а громкую и опасную славу. Осенью 1820 года в 10-й книжке либерального журнала «Невский зритель» появилась знаменитая сатира «К временщику». Написанное высоким стилем, изобилующее архаизмами стихотворение Рылеева произвело на читающую публику впечатление разорвавшейся бомбы, поразив всех своим гражданским мужеством, политическим максимализмом. Не нужно было обладать тонким чутьем, чтобы разгадать за «абстрактным» героем сатиры ее истинного адресата — всемогущего временщика графа А. А. Аракчеева.

С тех пор каждое новое стихотворение поэта вызывало у современников жаркие политические и литературные споры. Номера журналов с рылеевскими «Думами», листки с запретными одами и песнями переходили из рук в руки, размножаясь в сотнях списков. Либерально настроенные читатели находили в них именно то, чего они ждали от поэзии в эти бурные, предгрозовые годы: тираноборческий пафос, возвышенные гражданские чувства, романтические характеры. До наших дней дошло немало рукописных копий с сочинений Рылеева, однако далеко не каждый их владелец стремился раскрыть свое инкогнито, особенно если он носил военный мундир...

Весной 1821 года Александр I неожиданно вызвал с Кавказа прославленного героя Отечественной войны генерала Алексея Петровича Ермолова. Неизвестно откуда возник слух о его назначении командующим русским экспедиционным корпусом, формируемым для отправки на помощь грекам, восставшим против турецкого ига. Это известие было встречено с одобрением в разных слоях русского общества. Радикально настроенные молодые офицеры горели желанием принести свои жизни на алтарь свободы Греции. Однако, по замыслу «лукавого» императора, им отводилась роль палачей революционного Пьемонта. Расправа с итальянскими карбонариями должна была

навсегда погасить «дух вольности», царивший в рядах русской гвардии. Казалось бы, все шло по намеченному Александром I плану. Гвардейский корпус стремительным броском достиг западных границ.. и остановился в нерешительности. Донесения секретных агентов и собственные наблюдения императора во время инспекционных поездок в армию подтвердили его худшие опасения. Революционная «зараза» настолько глубоко проникла в гвардейские полки, что любая попытка превратить их в карателей могла стать роковой для русского самодержавия. Гвардейцев разместили на зимние квартиры в литовских местечках, а летом 1822 года, успешно завершив «маневры», они возвратились в Петербург. «Дух вольности» не только не угас, а, напротив того, еще шире распространился в рядах русской армии.

Наглядным свидетельством этому может служить толстая тетрадь в массивном переплете, хранящаяся в Рукописном отделе Пушкинского дома¹. Ее владелец — неизвестный участник похода 1821—1822 года — день за днем «списывал» в «заветную тетрадь» особенно полюбившиеся ему стихи. Здесь можно найти философские оды Ломоносова и Державина, басни Крылова, лирические послания Дмитриева и Карамзина, баллады Жуковского, лирические миниатюры юного Пушкина и его почтенного дяди. Завершают тетрадь знаменитая рылеевская сатира «К временщику» (л. 167—168) и одна из его самых трагичных и величественных «Дум» «Наталия Долгорукова» (л. 190—192), переписанная уже после возвращения гвардии из похода, в 1823 году. Вольнолюбивые стихи Рылеева — не случайные гости на страницах этого своеобразного лирического дневника. С ними соседствуют копия популярного в декабристской среде письма А. П. Ермолова к Александру I, в котором отважный генерал гневно обличал бюрократическое равнодушие царской администрации (л. 86), и крамольное рассуждение «О различных родах правления» (л. 89—104). «При владении тирана,— читаем мы на листе 92,— правительство ведет непрестанную войну с подданными; оно нападает на них со стороны законов, их имущества и чести, а им оставляет единое глубокое чувство собственного бедствия». Недалек уже был тот день, когда поэту, а возможно, и его читателю пришлось на собственном опыте убедиться в правоте этих слов. А пока — слава Рылеева росла как снежный ком.

Нередко белыми петербургскими ночами сонный покой

набережных Фонтанки нарушал нестройный хор детских голосов, доносившийся из окон Благородного пансиона при Главном педагогическом институте. «Вот раскричались птенцы горластые», — думал запоздалый прохожий, заслышав знакомый мотив из популярной оперы-водевиля П. М. Семенова «Удача от неудачи». Однако вслушайся он внимательно в слова куплетов, которые распевали питомцы «добрейшего и благороднейшего» учителя российской словесности Вильгельма Карловича Кюхельбекера, прохожий поспешил бы скорее убежать в свою далекую Колумбу:

Царь наш — немец русский —
Носит мундир узкий.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!..

Неразлучные друзья — курчавый Левушка Пушкин, длинноногий «кащей» Сергей Соболевский, степенный «малороссиянин» Николай Маркевич и коренастый крепыш Михайла Глинка, — «не сочувствовавшие никаким Бурбонам», наизусть знали все агитационные песни Бестужева и Рылеева, «Вольность», «Деревню», «Кинжал» и «ноэли» старшего брата проказливого Левушки. Они даже ухитрились достать где-то устав «Союза благоденствия» — знаменитую «Зеленую книгу». Экскурсия пансионеров в Михайловский замок чуть не закончилась грандиозным скандалом. «Где тут убили Павла?» — спросил один из друзей у онемевшего от ужаса дворцового чиновника². Через десять лет их одногодков отправляли в солдаты за такие же мальчишеские выходки.

Был у Рылеева еще один своеобразный почитатель — чиновник Министерства просвещения Константин Степанович Сербинович. Способный ученик полоцких прелатов, вкрадчивый и обходительный юноша быстро сумел «акклиматизироваться» в Петербурге, обзаведясь многочисленными «благодетелями». Круг знакомств Сербиновича в этот период поразительно разнообразен. «Архаисты» и «новаторы», консерваторы и либералы охотно открывали двери своих домов перед любезным, широко образованным чиновником. Вскоре Сербинович стал своим человеком у богатых и влиятельных князей Одоевских. Особенно подружился он с юным Александром Ивановичем, поэтом и будущим декабристом. Это знакомство, по-видимому, и пробудило в нем интерес к творчеству Рылеева. Интимный

характер записей в дневнике осторожного и хитрого «Молчалина» свидетельствует о том, что в начале 1820-х годов он искренне восхищался «прекрасными» «Думами» об Артемии Волынском, Державине и Иване Сусанине. В узком кругу его земляков и сослуживцев не раз читали и горячо обсуждали рылеевские «Думы», сатиру «К временщику» и запретную оду «Гражданское мужество»³.

Увлечение «маленького иезуита» гражданской поэзией Рылеева довольно симптоматично. У безродного разночинца, сына порабощенной самодержавием Польши, не было особых оснований симпатизировать царскому правительству. К тому же не так уж плохо было заранее усвоить терминологию новых «благодетелей» на тот случай, если их дело увенчается успехом. Декабристы потерпели поражение, а приглашенный переводчиком в Следственную комиссию Сербинович смог «побочно» оказать ценные услуги следствию как знаток умонастроений своих бывших друзей.

Прочитав эти строки, недоверчивый читатель может усомниться: действительно ли так велика была слава Рылеева перед декабрьским восстанием? Неизвестный офицер, проказливые школьники и малосимпатичный чиновник покажутся ему не слишком компетентными и авторитетными знатоками поэзии. Предоставим же слово одному из признанных вождей либеральной оппозиции, строгому литературному критику и тонкому эстету князю Петру Андреевичу Вяземскому. «Язвительный поэт, остряк замысловатый» (как охарактеризовал Вяземского Пушкин) проявил в оценке рылеевских стихов удивительную терпимость. «С живым удовольствием читаю я думы,— писал он 23 января 1823 года Рылееву и Бестужеву,— которые обращали на себя и прежде мое внимание. Они носят на себе печать отличительную, столь необыкновенную среди пошлых и одноличных или часто безличных стихотворений наших. Что и в хороших стихах, когда нет в них особенного характера? Стройные, но не связные, но ничего не выражающие аккорды в поэзии хороши в ребячестве. В зрелости лет нужна цель, нужно намерение»⁴. Порвав с двором и удалившись в родовое имение Остафьево, Вяземский поддерживал самую оживленную переписку со своими политическими и литературными единомышленниками, оставшимися в Петербурге. «Притча (революционная песня.— И. М.) уже ходит по городу,— сообщал ему 13 октября 1823 года А. А. Бестужев,— все поют: кому вынется,

тому сбудется»⁵. В архиве князя-вольнодумца сохранился список семи «подблюдных» песен Рылеева и Бестужева⁶. Есть основания полагать, что он не только собирал стихи поэтов-декабристов, но и усиленно пропагандировал их среди своих многочисленных знакомых.

День казни руководителей декабрьского восстания — 13 июля 1826 года — стал первым днем их бессмертия. Дорогой ценой заплатили они за него. И все-таки вера в торжество своих идеалов вела Рылеева и его героя — Волынского — на последний бой против торжествующего зла, она поддерживала их в страшный предсмертный час:

Против тиранов лютых тверд,
Он будет и в цепях свободен,
В час казни правотою горд
И вечно в мыслях благоден.

Плаха и виселица давно стали такими же неизменными атрибутами самодержавия, как скипетр и держава. Однако поэта на Руси казнили впервые...

Отдавал ли себе отчет Николай I в опасности для правительства подобного шага? По-видимому, да. В сборник воспоминаний А. О. Смирновой-Россет ее дочь включила свой сентиментальный рассказ о том, как «тонкий ценитель» русской словесности Николай I, прочитав впервые стихи Рылеева, говорил доверительно Жуковскому: «Я жалею, что не знал о том, что Рылеев — талантливый поэт; мы еще недостаточно богаты талантами, чтобы терять их». Ханжеские слова коварного императора (даже если допустить, что они не были плодом досужей фантазии О. Н. Смирновой) не должны вводить нас в заблуждение. Следствие по делу декабристов длилось так долго и велось настолько педантично, что ни одна сторона деятельности подсудимых не могла укрыться от зорких глаз их палача.

Правда, О. Н. Смирнова попыталась свалить всю вину за расправу с поэтом на Бенкендорфа. «Когда схватили бумаги Рылеева, Одоевского, Кюхельбекера и Бестужевых, — пишет она, — полиция отложила отдельно литературные рукописи; Бенкендорф сохранил их и отдал государю только через несколько месяцев после окончания процесса. Государь прочел их. Мне кажется, что Рылеев напечатал «Войнаровского» около 1825 года, «Думы» — раньше, но государь не был знаком с ними. Он говорил с Жуковским о поэтах-декабристах, жалел о том, что не знал, что у Кондратия Рылеева такой талант и что даже

Бестужевы — поэты. Он даже сказал Жуковскому, что дума о царевиче Алексее очень хороша и Олег тоже, что дума об Анне Иоанновне слишком фантастична, и что Пушкин гораздо лучше понял Мазепу и Карла XII, и что Войнаровский был только авантюрист, но что в этой поэме есть прекрасные стихи»⁷. Итак, жестокий шеф жандармов погубил несчастного Рылеева, и никто уже не мог воскресить его из мертвых, но почему же расчувствовавшийся деспот не поспешил облегчить участь оставшихся в живых поэтов-декабристов? Подписывая смертный приговор руководителям восстания, он не мог не знать, что посылает на эшафот одного из популярнейших литераторов России. И все-таки царь пошел на эту меру, чтобы раз и навсегда покончить с «духом вольности».

Николай I и его жандармы приложили все силы к тому, чтобы вытравить в русском обществе само воспоминание о казненных «бунтовщиках». Имя Рылеева «навечно» было исключено из официальной истории отечественной литературы, а его книги преданы огню. Однако передовая Россия не забыла о героях и мучениках декабрьского восстания. Достаточно познакомиться со списками рылеевских стихов, появившимися после его смерти, чтобы осознать, как выросла за это время читательская аудитория поэта-трибуна. Особой популярностью у духовных наследников декабристов пользовались думы об Артемии Волинском и Наталии Долгоруковой, «Исповедь Наливайки», ода «Гражданское мужество» и поэтическое завещание Рылеева потомкам — стихотворение «Гражданин». Их можно было найти в альбоме светской дамы и в «заветной тетради» нищего студента, в объемистом портфеле литературных рукописей записного библиофила и под тощим солдатским матрасом.

Все попытки правительства заставить навсегда умолкнуть голос Рылеева оказались тщетными. Даже в горькие часы поражения «волонтеры Свободы» думали о новых боях. Не случайно, вернувшись домой с Сенатской площади, И. И. Пущин первым делом постарался надежно спрятать драгоценные рылеевские автографы. Более тридцати лет хранились они у родственников Пущина, а затем в остафьевском архиве П. А. Вяземского, пока не возвратились, наконец, к своему убеленному сединой владельцу⁸. И все-таки среди активных пропагандистов поэтического наследия Рылеева в первые десятилетия после разгрома восстания мы не находим почти никого из его близких дру-

зей и соратников. Многие из них были сосланы в далекую Сибирь, за каждым шагом других, оставшихся на воле, следило недреманное око полиции. Подлинными творцами посмертной славы поэта-мученика стали внешне незаметные, «законопослушные», а потому и не вызывавшие подозрений у властей люди.

Трудно теперь установить, сколько явных и тайных врагов правительства продолжали безнаказанно пропагандировать крамольные идеи в роскошных петербургских и московских гостиных! Столичные литературные салоны стали подлинным кошмаром для николаевских жандармов. В отличие от своего старшего брата, Николай I, не задумываясь, расправлялся с наглыми бунтовщиками-молокососами, однако и ему не так просто было санкционировать обыск в будуаре влиятельной светской дамы. Даже самый преданный слуга престола не мог вообразить себе пленительную Зинаиду Волконскую или шаловливых девиц Олениных в ножных кандалах и рубище арестанток. Оставалось только исподволь воздействовать на строптивых меценаток через их папенок и мужей, либо терпеливо дожидаться, пока они остепенятся, заведут кучу детей и забудут об увлечениях молодости...

Будущая хозяйка одного из известнейших литературных салонов Аннет Оленина росла избалованной, своенравной девочкой. Любимая, поздняя дочь влиятельного савонника, директора Публичной библиотеки и президента Академии художеств А. Н. Оленина, Анна Алексеевна (1808—1888) с юных дней привыкла к всеобщему вниманию и поклонению. Богатая петербургская квартира ее родителей и их загородная усадьба Приютино издавна слыли прибежищем «российской Музы». «Сюда обыкновенно привозились все литературные новости: вновь появлявшиеся стихотворения, известия о театрах, о книгах, о картинах — словом, все, что могло питать любопытство людей, более или менее движимых любовью к просвещению»⁹.

Нередко в салоне Олениных звучали вольные речи. Непременными заводилами политических споров были обаятельный гвардейский полковник Сергей Трубецкой, подающий большие надежды писатель Александр Бестужев и его младший брат Николай, лейтенант Балтийского флота. Старики возмущенно качали головами, но не мешали молодежи потешаться над тупым солдафоном Аракчеевым, открыто обсуждать проекты радикальных государственных реформ. Либерализм был в моде, и никому не хотелось

прослыть замшелым ретроградом. В приютинские альбомы предгрозовых лет попадали не только дружеские шаржи и невинные эпиграммы, но и острые политические памфлеты, злые карикатуры на временщиков, запретные стихи Пушкина «Вольность», «Деревня», «Кинжал»...¹⁰

Декабрьская катастрофа разверзла в слабых сердцах столь страшные бездны ненависти и предательства, что, заглянув в них, многие ужаснулись. Рвались узы крови и многолетней дружбы. Вчерашние «либералы» по моде, все, кто в условиях общественного подъема послевоенных лет подделывался под «свободолюбцев», были готовы на любую подлость, чтобы реабилитировать себя в глазах нового императора. «Высшее общество,— писал А. И. Герцен,— с подлым и низким рвением спешило отречься от всех человеческих чувств, от всех гуманных мыслей»¹¹. Реакционеры всех мастей метали громы и молнии на «отщепенцев» благородного сословия, мстительно требуя жестокой расправы с побежденными. Не отставал от них и А. Н. Оленин, незадолго до декабрьского восстания облаканный и щедро награжденный покойным Александром I.

Можно представить себе, какое смятение царило в незрелых умах дворянской молодежи тех лет. Одни из них рвались к мечам, выбитым из рук старших братьев, и гибли в одиночках тюремных замков, другие — как семнадцатилетняя Аннет Оленина — осуждали, с голоса любимых и уважаемых папенок и маменок, «дурные намерения» декабристов¹². И все-таки известие о позорной казни пяти руководителей восстания и ссылке на каторгу лучших сынов молодой России болью отозвалось в самых благонамеренных юных сердцах. Ведь, что бы ни говорили о декабристах, они оставались для Анны Алексеевны и ее приятелей людьми «нашего круга»...

Тщеславной, самовлюбленной резонерке Аннет Олениной не были чужды временами искренние порывы. Трудно было оставаться равнодушной и рассудительной, узнав, что Катя Трубецкая и другие жены декабристов отправляются вслед за мужьями в далекую Сибирь. Жалость, страх, удивление, а может быть, и зависть к подвигу сверстниц вызвали в памяти Олениной образ другой мужественной женщины, безропотно разделившей горькую участь мужа. Дочь крупнейшего знатока «славянороссийских» древностей хорошо знала отечественную историю. Тем больше мыслей и чувств возбудили в ней пророческие

строки К. Ф. Рылеева, посвященные Наталье Долгоруковой:

В борьбе с враждующей судьбой
Я отцветала в заточеньи;
Мне друг прекрасный и молодой
Был дан, как призрак, на мгновенье.
Забыла я родной свой град,
Богатство, почести и знатность,
Чтоб с ним делить в Сибири хлад
И испытать судьбы превратность...

Дума о Наталье Долгоруковой, списанная рукой А. А. Олениной¹³, приводит нас к истокам получившей в свое время широкое распространение легенды о пророческом даре Рылеева. Поистине мистическим ужасом веяло на современников казни поэта-мученика от строк его «Стансов», думы об Артемии Волынском и «Исповеди Наливайки», полных предчувствия скорой и неизбежной гибели. Время и многолетние труды исследователей жизни и творчества Рылеева рассеяли туман легенд вокруг его имени, однако некоторые исторические параллели в судьбах декабристов и героев рылеевской музыки (Волынский — декабристы, Долгорукова — жены декабристов) прочно вошли в сознание потомков. И не случайно Н. А. Некрасов, создавая поэму о подвиге Екатерины Трубецкой и Марии Волконской, снова вспомнил несчастную вдову казненного «верховника»:

Пускай долговечнее мрамор могил,
Чем крест деревянный в пустыне,
Но мир Долгорукой еще не забыл,
А Бирона нет и в помине...¹⁴

Несмотря на все усилия хозяина Приютина, дух «крамолы» не хотел покидать стены оленинского дома.

Большое впечатление произвел на Анну Алексеевну остановившийся в Петербурге по пути к театру русско-турецкой войны казачий офицер Алексей Петрович Чечурин. Ходили слухи, что гость из Сибири побывал на Нерчинских рудниках, встречался с «несчастливыми» и привез от них известия. Все светские дамы наперебой старались залучить бравого хорунжего в свой салон. Но куда им было тягаться с Олениными! Высокий, статный, окруженный ореолом тайны Чечурин, столь выгодно выделявшийся своей мужественной красотой и серьезностью среди петербургских волокит, пленил сердце Аннет. Долгими вечера-

ми рассказывал ей гость о своей опасной, полной романтических приключений службе, а вскоре на свет появилась заветная тетрадь со стихами и письмами декабристов, привезенная из Читы. «Не рассказывайте этого никому», — пылко предостерегала Чечурина Оленина, а потом сама призналась ему в том, что написала музыку к «Смерти Ермака» Рылеева¹⁵. Доверие между новыми друзьями настолько окрепло, что, уезжая на войну, Чечурин оставил молодым Олениным на сохранение «сочинения и письма Рылеева» и драгоценный кусок серебряной руды, отбитый киркой каторжанина-декабриста¹⁶.

У русских читательниц в начале прошлого столетия возник своеобразный культ Рылеева. Еще долго чувствительные женские сердца содрогались при мысли о трагической судьбе поэта-мученика, живо напоминавшего им любимого героя романтической литературы — «благородного разбойника», пиллеровского Карла Моора или пушкинского Дубровского...

В тихой, набожной старушке, мирно доживавшей свои дни в окружении многочисленных приживалок, даже ее старым друзьям трудно было бы узнать лучшую русскую Офелию, партнершу великого трагика П. С. Мочалова. Четверть века отдала сцене актриса Малого и Александринского театров Прасковья Ивановна Орлова-Савина (1815—1900). В ящиках пузатого комода бережно хранились как память о былых триумфах пожелтевшие афиши, засохшие лепестки роз, восторженные стихотворные послания Ф. Н. Глинки и Н. И. Греча, письма, фотографии и альбомы. Вокруг яркой, темпераментной актрисы всегда вился назойливый рой поклонников ее красоты и таланта. Однако неподражаемая в ролях «роковых» женщин, Орлова-Савина в обыденной жизни была добрейшей души человеком. Сердобольная актриса охотно принимала участие в судьбах всех страждущих и несчастных. Близкое знакомство с бывшим вольнодумцем Гречем и декабристом Глинкой не прошло для нее бесследно. Их рассказы пробудили в Орловой-Савиной живой интерес к поэзии Рылеева. Кто мог лучше, чем талантливая актриса, «вскормленная» шекспировской музой, ощутить трагическое величие человеческого и гражданского подвига поэта-мученика? И не случайно в ее дневнике, среди записей о встречах с Гречем, мы находим список рылеевской оды «Видение»¹⁷. Но особенно близко сердцу Прасковьи Ивановны были «Думы» о героических женщинах прошлых дней «Наталия Долго-

рукова» и «Ольга при могиле Игоря». Вполне допустимо предположить, что актриса не только часто читала украдкой потертые на сгибах листки со списками этих дум¹⁸, но и декламировала их в узком кругу своих друзей и почитателей.

Даже сверхбдительным николаевским жандармам трудно было представить себе светскую даму и красавицу-актрису в роли активных участниц коварного антиправительственного заговора. Однако их благонамеренные респектабельные салоны нередко становились источником опасной для царизма политической «инфекции». Разъезжаясь по домам, многочисленные гости этих салонов увозили с собой не только мелкие знаки приязни радушных хозяек, но и «сувениры» совсем иного рода — списки крамольных рылеевских стихов. И случилось так, что, пройдя не одни руки, они оказывались у людей, настроенных гораздо радикальнее, чем сестры Оленины и русская Офелия...

Активная восприимчивость к новым идеям в сочетании с безрассудной смелостью и наивным максимализмом всегда были свойственны молодости. Для сотен юношей и девушек первых десятилетий николаевской реакции поэзия Рылеева стала азбукой гражданского мужества, мощным импульсом к общественной деятельности. Подводя итоги первому этапу борьбы с самодержавием, А. И. Герцен писал в 1850 году: «Революционные стихи Рылеева и Пушкина можно найти в руках у молодых людей в самых отдаленных областях империи. Нет ни одной благовоспитанной барышни, которая не знала бы их наизусть, ни одного офицера, который не носил бы их в своей полевой сумке, ни одного поповича, который не снял бы с них десятки копий... Целое поколение подверглось влиянию этой пылкой юношеской пропаганды»¹⁹.

Будущий издатель «Полярной звезды» и сам в юности увлекался чтением запретных стихов. Ночи напролет, когда все в доме спали, Саша вместе со своим учителем И. Е. Протопоповым переписывал вольнолюбивые строки Рылеева и Пушкина. Жаркие споры о духовном наследии декабристов, обмен новейшими произведениями подпольной русской музыки навсегда скрепили его дружбу с Николаем Огаревым. Наивные и восторженные полу-дети, полумужчины, эти русские «вертеры» горели чистым огнем жертвенности, фанатичным стремлением принести свои жизни на алтарь общественного блага.

Характерной чертой нового этапа русского освободительного движения стало активное участие в общественной жизни страны разночинного студенчества. Декабрьская катастрофа убедительно доказала, что революция не может быть исключительной привилегией «благородного» сословия. Армия, после целой серии политических «чисток», надолго превратилась в надежную опору самодержавия, а многомиллионные крестьянские массы оставались слишком темной и неорганизованной силой для целенаправленного выступления против социальных и экономических устоев общества. В этих условиях разночинная интеллигенция, которая, несмотря на духовное превосходство над «хозяевами жизни», влачила жалкое, полунищенское существование, выступила как наиболее грозная для правительства сила. Самым бескомпромиссным и динамичным отрядом среди «пролетариев умственного труда» были студенты. «Воспитанные по большей части в идеях мятежных и сформировавшись в принципах, противных религии,— доносил 8 марта 1826 года жандармский полковник И. П. Бибииков Бенкендорфу,— они представляют из себя рассадник, который некогда может стать гибельным для отечества и для законной власти»²⁰. Эти настроения студенчества в какой-то степени одобряла и поддерживала передовая часть русского купечества и промышленников, недовольных дискриминационной политикой феодально-сословного государства.

Любопытный разговор произошел весной 1827 года между купеческим сыном Иваном Кольчугиным и абитуриентом Московского университета Николаем Лущниковым. Книжная лавка Кольчугиных в Охотном ряду издавна пользовалась заслуженной славой среди русской читающей публики. Нищий студент мог здесь купить за бесценок у разбитного Ивана Григорьевича подержанные учебники, а для маститого библиофила сам хозяин фирмы престарелый Григорий Никифорович лез на шаткие антресоли, откапывая в пыльных гудах только одному ему известным способом увесистый «кирпич» федоровского «Апостола» или тоненькую тетрадь запретной трагедии Княгинина «Вадим Новгородский». Отца и сына Кольчугиных знали в Москве как людей дерзких и вольнодумных. Для Григория Никифоровича, начинавшего службу приказчиком у знаменитого просветителя Новикова, не впервой были аресты, допросы и обыски. Кажется, не раз бдительная полиция переворачивала «вверх дном» его лавчонку,

однако у изворотливого купца всегда находилась для старообрядца рукописная «История об отцах и страдальцах Соловецких», для масона — мистические труды Сведенборга и Арндта, а для богатого «либералиста» — тетрадка запретных стихов Пушкина. Поэтому грозный указ правительства о конфискации сочинений Рылеева не застал Кольчугиных врасплох. Несколько книг все-таки пришлось «для отвода глаз» сдать в полицию, но десятки томов «Дум», «Войнаровского» и «Полярной звезды» перекочевали с полок на антресоли, поджидая надежных покупателей²¹.

Сына бедного симбирского землемера Лущникова на первый взгляд можно было отнести к категории нищих студентов. Однако, бегло просмотрев книги на прилавке, он спросил у Ивана Григорьевича о цене «Дум» Рылеева, «выхваляя его гений и сожалея о его участи». «То, за что он погиб, увековечило его память, — в тон покупателю отвечал сиделец, — следственная комиссия сделала их дураками; они бы по-нашему, попросту, из-за уголка». Юноши понравились друг другу, разговорились и условились о новых встречах. Уходя, Лущников иронически заметил: «Пойти что ли помолиться за царя, да поставить за него свечку». «Да уж и от меня поставьте — сальную», — резюмировал Кольчугин²².

Довелось ли им еще раз встретиться — неизвестно. В августе того же года восемнадцатилетний Николай Лущников был арестован при попытке подбить на «бунт» гарнизон Кремля. Вместе с ним перед следственной комиссией, созванной военным генерал-губернатором Москвы Д. В. Голицыным, предстали другие участники тайного революционного кружка — сенатский чиновник Петр Критский, его братья — студенты Московского университета Михаил и Василий, их однокашник Николай Попов и архитекторский помощник Кремлевской экспедиции Даниил Тюрин. Кружковцы считали себя продолжателями дела декабристов. Они намеревались создать большую тайную политическую организацию, обсуждали возможность царевубийства, пытались вести революционную пропаганду среди чиновников, солдат и студентов.

Следствием было установлено, что крамольные взгляды братьев Критских и их товарищей сложились под влиянием «вольномысленных книг». «Любовь к независимости и отвращение к монархическому правлению, — заявил Василий Критский, — возбуждали в нас творения Пушкина и

Рылеева, которые, переходя у нас из рук в руки, читались и перечитывались»²³. При обыске у кружковцев были обнаружены несколько списков агитационных песен «Ах, где те острова» и «Вдоль Фонтанки-реки», пушкинской оды «Вольность» и стихотворения «Деревня». «Деятельность» этих наивных юнцов, старшему из которых едва исполнилось двадцать лет, ограничилась в основном разговорами в узком товарищеском кругу и составлением явно неосуществимых «проектов». Однако это не помешало Николаю I жестоко расправиться с ними. По его личному повелению юные вольнодумцы были заключены в тюремные замки до «исправления» или высланы из Москвы. Книготорговца Ивана Кольчугина, категорически отрицавшего свою связь с кружком Критских, царь был вынужден простить, но распорядился «иметь за ним строгий присмотр».

Этот случай заставил насторожиться николаевских жандармов. Только сейчас они начали по-настоящему понимать, что звучащий стих Рылеева в любую минуту может превратиться в сталь клинка, направленного в грудь убийцы поэта. Тотчас же последовал приказ Бенкендорфа генерал-адъютанту Стрекалову и флигель-адъютанту Строганову обследовать университеты, «откуда, как из очага заразы, распространяются по стране запрещенные стихи Рылеева и Пушкина», а «о нашедшихся виновниках немедленно сообщать»²⁴. Полицейские ищeyки охотились по всей стране за каждым списком «возмутительных» сочинений.

Пламенные строки рылеевских поэм о Войнаровском и Наливайке приобретали особое звучание на земле Украины, не забывшей еще казачьей вольницы. С неослабевающим беспокойством следило русское правительство за каждым новым явлением в жизни украинского общества, жестоко пресекая любые попытки сеять «смуту» в этой стратегически важной, многонациональной пограничной области империи.

В конце 1820-х годов, судя по донесениям полицейских агентов, самым опасным гнездом «крамолы» на юге России стал Харьковский университет. Привлеченный к ответу, автор стихотворения «Рылеев в темнице» В. Розалион-Сошальский показал на допросе, что «вольных сочинений у редкого студента не находится»²⁵. Об этом, как выяснилось, старательно позаботились офицер военного чугуевского поселения Сяянов и разжалованный в солдаты прия-

тель Пушкина Р. И. Дорохов. Не успело закончиться следствие по делу Сошальского, а местной жандармерией уже был арестован его однокашник Петр Балабуха за распространение «к вольнодумству и даже к возмущению ведущих рукописных сочинений». Запуганный и деморализованный Балабуха признался, что читал стихи Рылеева и дарил с них копии своим друзьям-офицерам и студентам²⁶. Последовали новые аресты и обыски.

Среди читателей запретных стихов оказался воспитанник Нежинской гимназии высших наук, одноклассник Н. В. Гоголя Андрей Божко. Тщательное расследование, проведенное доверенным лицом Бенкендорфа — чиновником Министерства просвещения Э. Б. Адеркасом, показало, как глубоко укоренились в гимназии вольнодумные идеи. Еще осенью 1826 года надзиратель Зельднер отобрал у воспитанников Е. П. Гребенки, А. С. Данилевского и Н. Я. Прокоповича (впоследствии известных литераторов) целую кучу книг и рукописей, «не сообразных с целью нравственного воспитания». Здесь была рукописная копия «Оды на свободу» Пушкина, «Исповедь Наливайки» и три списка поэмы Рылеева «Войнаровский». Однако инспектор-либерал Н. Г. Белоусов не оценил усердия служаки и постарался замять инцидент. Не чувствуя начальнического окрика, юные вольнодумцы вконец «распоясались». Под влиянием Рылеева они и сами начали сочинять стихи, «закрывающие в себе воззвание к свободе».

Расторгнем сильною рукой
Гнилые узы самовластья,—

так заканчивалось одно из коллективных сочинений нежинских гимназистов. Эти крамольные строки вспомнил ученик 6-го класса Александр Змеев, получивший у профессора Ландражина домашнее задание перевести на французский язык какие-нибудь русские стихи. Но и на сей раз дерзкий юнец не был примерно наказан. «Хорошо, что это досталось такому, как я,— внушал Ландражин наедине Змееву,— ты знаешь, что такие вещи [тебя могут сделать] несчастным; у нас в России правление деспотическое, вольно говорить не позволено»²⁷. Гоголю и его товарищам дали возможность закончить гимназию, зато для целой группы профессоров расследование Адеркаса имело тяжелые последствия. Белоусова и Ландражина «за вредное на юношество влияние» отрешили от должности с «волчьими билетами» и выслали под надзор полиции²⁸.

И все-таки никакие «умственные плотины» не могли сдерживать напор вольного слова. Всюду, где условия жизни объединяли группу молодых людей — в аудитории университета, в классе гимназии, в казарме, в «присутственном месте», — немедленно начинали ходить по рукам списки запретных стихов.

Как ни старался уберечь Иван Алексеевич Второв «идола своего сердца», единственного сына Николенку от соблазнов политики, — не смог! Ученик масонов, один из образованнейших русских людей начала прошлого столетия, Второв-отец (1772—1844) много видел, много узнал, много претерпел невзгод за свою долгую жизнь. Мелкий чиновник-недочка из провинциальной Самары, свято уверовав в истинность гуманных принципов учения вольных каменщиков, посвятил себя безраздельно делу умственного и нравственного самоусовершенствования. Фантастическое трудолюбие и упорство Второва помогли ему восполнить пробелы образования и добиться заметного положения в обществе. Дружбой с ним дорожили руководители русских масонов Н. И. Новиков, И. П. Тургенев и И. В. Лопухин.

В доме И. П. Тургенева ученый провинциал близко сошелся с его сыновьями — Александром и будущим декабристом Николаем. Орденские связи открывали перед Второвым многие двери в столицах. В 1822 году судьба свела его за одним столом с братьями Бестужевыми и Кюндрачем Рылеевым. Для проникательного Ивана Алексеевича едва ли остался неясным скрытый подтекст всех литературных и политических споров в салоне фрондирующего Греча. Он и сам уже начинал сомневаться в том, что кучка братьев-каменщиков может своим нравственным примером исцелить все язвы России. Однако декабрьское восстание Второв-отец воспринял только как бессмысленное кровопролитие. «Какие ужасные слухи о Петербурге! — записал старый масон в своем дневнике 1 января 1826 года. — Там... лилась кровь человеческая»²⁹. Страшное время настало для Второва. Каждый день приносил известия об арестах среди его друзей и знакомых, о доносах и обысках. И все же рука не поднималась бросить в огонь чудом сохранившийся в его библиотеке экземпляр «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, письма Тургеневых, альбомы со стихами поэтов-декабристов. «Истребите, ради бога, дурацкий архив свой», — умоляла Второва его сестра А. А. Ефёбовская³⁰. Скрепя сердце, пришлось по-

жертвовать частью накопленных за долгие годы книжных сокровищ.

Многих близких людей потерял Иван Алексеевич, но зато рядом с ним всегда оставался его Николенька. Теплая, нежная дружба связывала отца и сына, рано лишившегося матери. Открыв впервые глаза, мальчик увидел вокруг себя книги. Книги стояли чинно на полках, пыльными горами лежали на рабочем столе отца, на полу, на подоконниках. «Порядочная библиотека его (Второва-отца), — вспоминал о ней друг юности Николая Ивановича, — богатая французскими классиками, а в особенности русскими периодическими изданиями, начиная от петровских курантов до «Библиотеки для чтения» Сенковского, занимала все четыре стены особенной комнаты»³¹. И все эти до времени немые друзья и умные собеседники были к услугам гимназиста, а затем студента Казанского университета Николая Второва. Отец охотно обсуждал с любознательным юношей все новинки российской словесности, последние открытия ученых и философские доктрины, но упорно избегал разговоров о политике. Его авторитет долго оказывал влияние на сына, и затаенная духовная инфантильность Николеньки грозила перерасти в политическое невежество. «О, как велика привязанность русского народа к своему царю! — восторженно писал он в дни пребывания Николая I в Казани. — Это я испытал на себе!»³². Студенческие годы остались позади, и монархические иллюзии «новоиспеченного» библиотекаря Казанского университета Второва-сына значительно поблекли. Непреодолимая тяга к самостоятельности побуждала его ночи напролет просиживать с друзьями над книгами Канта и Гегеля, искать ответы на «больные» вопросы, мучившие всех честных людей России, в книгах, на которые раньше чадолюбивый отец налагал табу. Много новых мыслей и чувств возбудила в нем первая заграничная командировка по поручению университетской библиотеки. Юноша не только познакомился в чужих краях со многими знаменитыми библиотеками, музеями и театрами, но и впервые узнал, вырвавшись из-под «пресса» царской цензуры, о существовании «подводных» течений в русской общественной мысли и литературе. Свидетельством духовного роста Второва-сына в эти годы может служить альбом, куда он вписывал новые стихи с февраля 1837 по октябрь 1843 года³³. Отбор стихотворений, выписанных из «Отечественных записок» и «Современника» или скопированных

со списков, многое может рассказать о литературных вкусах и политических симпатиях владельца этого альбома. Здесь можно найти поэму Рылеева «Войнаровский», «Думы», «Рогнеда» и «Мстислав Удалый», два стихотворения ссыльного поэта-декабриста А. И. Одоевского — «Сен-Бернар» и «Послание к отцу».

Нам неизвестно, пополнял ли в дальнейшем Второв свое собрание творений запретной музыки, но условия для этого у него, несомненно, были. Важным событием в его жизни стал переезд в Воронеж, где многие еще помнили покойного мужа острогожской помещицы Тевяшевой — К. Ф. Рылеева. Около десяти лет жизни Н. И. Второв (1818—1865) посвятил изучению истории этого древнего русского города. Круг воронежских знакомств Николая Ивановича поражает своим разнообразием. Частыми гостями в доме редактора местной газеты были учителя и врачи, офицеры и купцы. Попадались среди них яркие, самобытные люди: поэт-мещанин Иван Никитин, которому Второв открыл дорогу в большую литературу, талантливые журналисты, директор Михайловского кадетского корпуса Александр Дмитриевич Винтулов. Строгий, даже деспотичный с подчиненными, Винтулов совершенно преображался в компании друзей и единомышленников. Воспитанный в «понятиях первой четверти века на либеральных идеях декабристов, которых он считал товарищами своей юности», старый служака — по рассказам современников — «положительно выражался о Рылееве и Кюхельбекере. О первом он сохранил самые теплые воспоминания, имел все его сочинения, которые любил читать, а читал он мастерски». Доверенные педагоги и кадеты нередко получали доступ в богатейшую библиотеку начальника корпуса, где на полках стояли аккуратно переплетенные томики «Полярной звезды» и «Мнемозины», «Войнаровского» и «Дум». Знали о книжных богатствах Винтулова и его друзья из кружка либеральной интеллигенции, группировавшейся вокруг Второва³⁴.

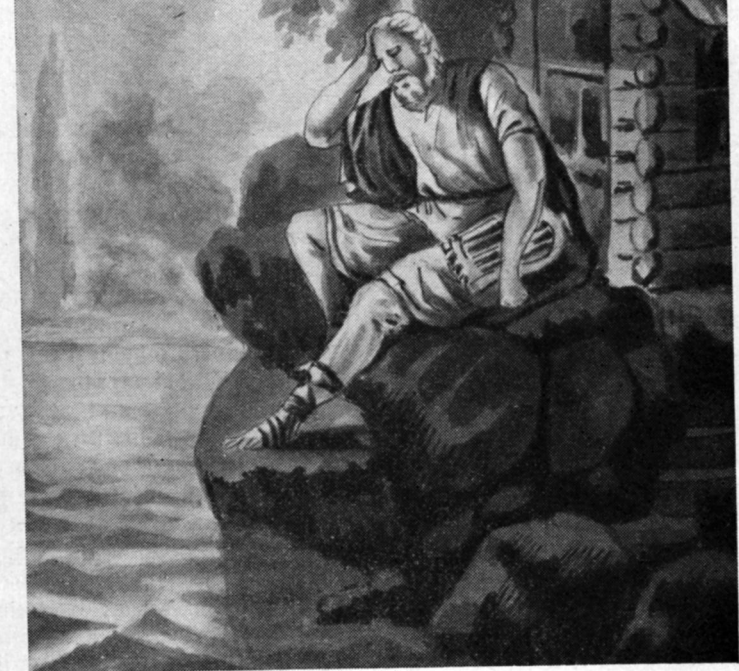
Совсем в иных условиях рос Александр Петрович Милюков (1817—1897). Выходец из типичной московской купеческой семьи, Саша Милюков до поступления в гимназию почти ничего не читал, кроме учебных книг, а о Пушкине даже не слыхивал. Прошло несколько лет, и у будущего соратника Белинского, автора трехтомных «Очерков истории русской поэзии», завелась уже собственная «заветная тетрадь» со стихами Пушкина, Рылеева и

Полежаева. «Хотя сочинения эти,— вспоминал Милюков,— как и самые имена их авторов, были в то время запретными плодами, но мы нередко читали их в классах». И снова повторился, в который уже раз, конфликт между рассудительной зрелостью и дерзкой молодостью. Однажды «по окончании урока,— читаем мы в мемуарах Милюкова,— учитель позвал к себе на квартиру человек пять учеников, которые чаще других угощали его запрещенными стихотворениями, и прочел им такую речь: «Сорванцы! Что вы меня потчуете Рылеевым да Полежаевым? То ли время теперь, чтоб читать в классах подобные стихи? Ну, если во время урока наедет кто-нибудь власть имущий! В петлю, что ли, вы хотите или под красную шапку? Идите, коли нравится, да других за собой не тащите. Как вы не подумаете, в какую мы пору живем!»³⁵ Чтение в классах Рылеева прекратилось, но тяга учеников к вольному слову только усилилась...

Как бы удивились несчастный Ландражин и запуганный учитель Милюкова, узнай они, что на книжной полке младшего сына ненавистного императора Николая I — великого князя Константина Николаевича стоит томик рукописных «сочинений Рылеева»³⁶. Роскошный переплет, оклеенный мраморной бумагой, с кожаным корешком и наугольниками, прекрасные иллюстрации, тщательно выверенные тексты «Войнаровского», «Дум», «Стансов» и отрывков из поэмы «Исповедь Наливайки» с библиографическими отсылками к изданиям, в которых они были впервые опубликованы, придали музе казненного поэта официальный и чопорный вид. Здесь мы находим оду «Гражданское мужество» и стихотворение «Гражданин». Те же слова, тот же «задыхающийся» взволнованный слог Рылеева, и все-таки не верится, что этот альбом из бумаги верже, исписанный четким каллиграфическим почерком, приходится сродни тысячам «заветных тетрадей» сверстников цесаревича, бедным «золушкам» в восковых подтеках — следах ночных бдений и в обтрепанных «платьяцах» из дешевого ситца. Константин Николаевич и его потомки всегда слыли в царской фамилии «либералами». Эти образованные, интеллигентные люди задолго до падения дома Романовых ощутили приближение катастрофы. Недаром владелец рукописного тома сочинений Рылеева в качестве председателя Главного комитета по проведению крестьянской реформы 1861 года приложил немало сил к тому, чтобы хоть на время утишить «смятение умов».

ДУМЫ

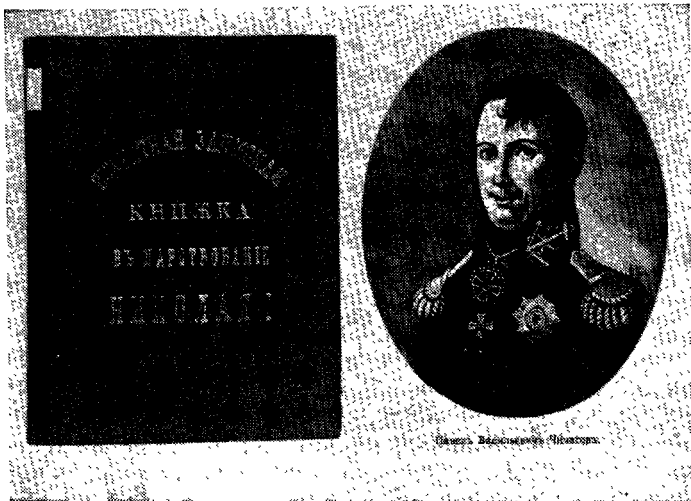
К. РЫЛЕЕВА



Титульный лист списка «Думы» К. Ф. Рылеева из собрания великого князя Константина Николаевича.

Надежно обосновавшись в хижинах и дворцах соотечественников, запретная рылеевская муза через все полицейские кордоны и рогатки проникла за рубежи николаевской России. В Отделе рукописей Государственной Библиотеки СССР им. В. И. Ленина сохранилась объемистая тетрадь с вытисненным на обложке золотом многообещающим названием: «Секретная записная книжка в царствование Николая I»³⁷. Ее владельца — отставного адмирала Павла Васильевича Чичагова (1767—1849) можно по праву назвать одним из первых русских политических эмигрантов. Сын выдающегося флотоводца екатерининских времен, Чичагов получил блестящее образование в Англии. Возвратясь на родину, он не скрывал своего недовольства существовавшими в стране порядками. Блестящему молодому офицеру не простили его вольных рассуждений о необходимости отмены крепостного рабства и язвительных насмешек над косностью и невежеством русского дворянства. В июле 1799 года, вследствие происков старого недруга — А. С. Шишкова, Чичагов был арестован по подозрению в измене и брошен в секретный рavelин Петропавловской крепости. Недолго длилось его заточение. Обвинения Шишкова не подтвердились. Тяжело больного офицера освободили из крепости и вновь приняли на службу, однако светское общество навсегда навесило на него ярлык «якобинца» и «изменника». «Дней александровых прекрасное начало» ознаменовалось стремительным, но недолгим возвышением Чичагова. С нескрываемым злорадством встретили его многочисленные недоброжелатели и завистники известие о сокрушительном поражении, которое нанес Наполеон на реке Березине «сухопутному адмиралу». Снова всплыло обвинение в измене. Оклеветанный и униженный полководец после поражения Наполеона навсегда удалился в добровольное изгнание во Францию.

Нам мало что известно о жизни Чичагова в эмиграции. Однако судя по дошедшему до нас рукописному сборнику стихов Рылеева из его библиотеки, он продолжал живо интересоваться общественной жизнью далекой родины. И уж, конечно, симпатии изгнанника были не на стороне палачей декабристов. Книжки журналов с рылеевскими сочинениями и их списки попадали в Париж от случая к случаю (печатных изданий «Дум» и «Войнаровского» у Чичагова, по-видимому, не было). Владелец «Секретной записной книжки» включал в нее отдельные «Думы» («Глинский», «Державин», «Артамон Матвеев» и т. д.),



Портрет П. В. Чичагова (с гравированного портрета Гейнце) и обложка сборника запретных стихов из его собрания.

юношеские эпиграммы Рылеева, «Войнаровского», отрывки из поэмы «Исповедь Наливайки» («Гайдамак» и «Киев») и приписанное молвой казненному поэту покаянное стихотворение «Глас осужденного в темнице». Думается, содержание этой тетради было хорошо известно не только членам русской «колонии» в Париже, но и многочисленным французским друзьям адмирала, живо интересовавшимся декабрьскими событиями в Петербурге.

В главе, посвященной запретным стихам Пушкина, читатель уже познакомился с несколькими учениками Семена Егоровича Раича. К их плеяде принадлежал еще один герой нашей книги — известный библиограф, эрудит Сергей Дмитриевич Полторацкий (1803—1874). Казалось бы, кому мог быть опасен этот «премильный чудак», с головой ушедший в свои книги и выписки. Однако николаевских жандармов не на шутку беспокоили две черты характера Сергея Дмитриевича, искони вызывавшие подозрение у властей предрежащих, — чрезмерное любопытство и фантастическая общительность. Не было в России (да и за ее рубежами) хоть чем-либо известного человека, с которым Полторацкий не поддерживал бы более или менее регулярных контактов. «Правые» и «левые», «западники» и «славянофилы», влиятельные сановники и нищие литераторы были

в восторге от умного, все на свете знающего и вместе с тем скромного и доброжелательного человека. Общительность, живой интерес ко всему новому в литературе, науке, искусстве, политике стали традицией в роду Полторацкого. Его отец дружил с Карамзиным, дядя — с Державиным, у самого Сергея Дмитриевича были многолетние приятельские отношения, переписка и обмен книгами с Пушкиным.

От предков унаследовал Полторацкий и любовь к книге, особенно к книге уникальной, редкой, запретной. Слава о его фамильной библиотеке в имени Авчурино близ Калуги (более 15 000 томов) разнеслась по всей Европе. Начало этому уникальному собранию печатных раритетов и рукописей положил еще в середине XVIII столетия дед библиофила, богатый негоциант екатерининских времен, владелец первых игольных фабрик на Руси, Петр Кириллович Хлебников. С гордостью показывал Полторацкий гостям Авчурина «перлы» своей коллекции — чудом избежавшие огня первые жертвы царской цензуры: мистическое сочинение Иоанна Арндта «О истинном христианстве», напечатанное на русском языке в немецком городе Галле и запрещенное императрицей Елизаветой Петровной, оду М. В. Ломоносова несчастному царевичу Иоанну Антоновичу, указы Петра III, номер журнала Г. Л. Байко и Я. Б. Княжнина «Санктпетербургский вестник» с одой Державина «Властиителям и судиям», которую полиция вырезала из большинства экземпляров.

Сергей Дмитриевич и сам активно пополнял свои тайники новейшими творениями запретной музыки. По его просьбе Пушкин украсил альбом друга-библиофила автографом знаменитого стихотворения «Кинжал»; авчуринское собрание изданий вольной русской печати не знало себе равных. Но особенно интересны для историка русской литературы знаменитые «картоны» Полторацкого. Чего здесь только нет: тематические подборки вырезок из газет и журналов, уникальные брошюры, выписки из архивных дел, исчерпывающие библиографические справки о давно забытых писателях и ученых значительно сокращают многотрудные странствия дотошного исследователя по книжному морю. «Собираю рассеянное» — этот девиз русского археографа XVIII века Н. Н. Бантыш-Каменского с полным правом мог бы начертать на своем гербе Полторацкий.

«Пусть делают, как я, — завещал он будущим библиофилам, — пусть извлекают из всякой книги то, что есть в ней полезного и любопытного, и сохраняют это, как я, в

картонах, с примечаниями и отметками, а из остальной бумаги делайте, господа, что хотите: завертывайте в нее всякую всячину, закуривайте ею трубку, оклеивайте стены и потолки... Кто велит хранить и переплетать дурную книгу? А ежели занимает она у вас лишнее место, так что тут церемониться: бросьте скорее книгу в камин, да и концы в воду»³⁸. Едва ли можно рекомендовать читателям последовать этому парадоксальному совету, да и сам Сергей Дмитриевич не растапливал камин книгами. Однако эта шутка маститого библиофила весьма характерна. Исследовательский, творческий подход к печатному слову выгодно отличал Полторацкого от всеядных собирателей «книжных редкостей». Книга была для него прежде всего источником знаний, а не фетишем фанатика и не метафизической «вещью в себе».

Несколько «картонов» в коллекции Полторацкого отведены материалам о Рылееве³⁹. Библиофил бережно собрал здесь вырезки первых журнальных публикаций его стихов, списки запретных сочинений поэта-мученика, копию смертного приговора, полученную от историка и библиографа И. П. Быстрова в декабре 1849 года, и другие заметки о жизни и творчестве Рылеева. Но самая интересная находка поджидает терпеливого исследователя в конце папки. Первый перевод на французский язык «Исповеди Наливайки», появившийся на свет через год после декабрьского восстания, заслуживает того, чтобы рассказать о нем подробнее.

В конце 1827 года в жандармское управление поступил донос на отставного ротмистра Изюмского гусарского полка князя В. Ф. Гагарина, который привез из заграничного путешествия, по просьбе своего друга П. А. Вяземского, «запрещенные газеты французские о переведенных на французский язык стихах известного преступника Рылеева»⁴⁰. Вскоре в Россию по тайным «каналам» пробник и сам перевод. Его автором был посредственный драматург и журналист, близкий ко двору Людовика XVIII, Жак-Арсен-Поликарп Ансело (1794—1854). Погоня за сенсационным материалом привела предприимчивого литературного дельца на берега Невы и Москвы-реки в дни коронации Николая I. За несколько месяцев, проведенных в русских столицах, Ансело собрал «по горячим следам» немало интересных сведений о декабрьском восстании и его руководителях. Дворянские революционеры не вызвали горячих симпатий у буржуа-монархиста. Однако, пытаясь быть объективным, французский путешественник подчеркнуто

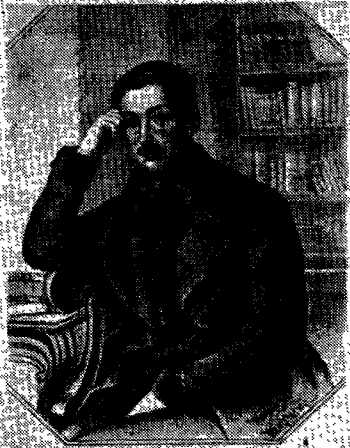
Ryleeff, ces poésies différentes composées poé-
tiques, fort remarquables, mais surtout jadis
cette jeunesse qui les élevait et les a conduits à
le révéler. Et si vraiment un fragment d'un point
tendu, de Ryleeff, — et je l'en adresse la transcrip-
tion, — il semble qu'on n'ait jamais, comme
dehors par les autres, irrésistiblement de ne dans
son futur, en outre connaître les non historie.

LA CONFESSIOE DE NALIVAIKI

Extrait de la collection de M. D. Poltorac.

Les Croyants catholiques ne pouvaient plus tolérer les res-
suscités de Poltorac. Ceux qui avaient écrit leur poème, im-
prouvaient les autres et les autres les autres par l'histoire
des autres catholiques. Tous à leur passé les autres.
Nalivaiki, un autre catholique, et comme le poème
était écrit non seulement, mais le projet de l'histoire
était terminé, il avait les autres et les autres de l'histoire
étaient terminés par la poésie, et comme les autres de l'histoire
étaient terminés.

Et comme les autres de l'histoire que je ne pouvais
pas écrire, les autres de l'histoire, les autres de l'histoire.



S. D. Poltorac

Портрет С. Д. Полторацкого и перевод «Исповеди Наливайки» на французский язык из его коллекции.

выделял из их среды группу писателей-вольнодумцев и в первую очередь Рылеева. Рыцарем без страха и упрека, бескорыстным борцом за общественное благо, побуждаемым к действию «импульсом благородной и возвышенной мысли», предстал русский поэт перед читателями путевых очерков Ансело «Полгода в России» (1827). Рассказ о поэте-декабристе завершился прозаическим переводом «Исповеди Наливайки»⁴¹. Очерки Ансело имели шумный успех во Франции и за ее пределами. Филистерские шоры помешали их автору верно оценить значение восстания на Сенатской площади, однако объективно эта книга сыграла положительную роль, впервые познакомив европейского читателя с оппозиционными течениями, пробивавшими себе дорогу в глубинах таинственного «северного колосса».

Появление материалов о Рылееве в «картонах» Полторацкого весьма симптоматично. Конечно, как и все либерально мыслящие люди его времени, Сергей Дмитриевич питал особый интерес к запретной поэзии. И все-таки между его тщательно подобранной, систематизированной и прокомментированной «рылеевианой» и небрежными списками стихов поэта-вольнодумца из архива дальнего родственника Полторацкого — Дмитрия Сергеевича Львова⁴²

существует не только количественное отличие. «В последние годы,— писал А. И. Герцен в 1850 году,— пыл [к стихам Рыльева] значительно охладел, ибо они уже сделали свое дело»⁴³. Эти слова свидетельствовали о серьезных переменах, происходивших в русском освободительном движении. Характерно, что на процессе петрашевцев имя Рыльева почти не упоминалось. Новое время требовало «новых песен». «Случалось говорить... о государственных преступниках в Сибири,— читаем мы в показаниях петрашевца Р. А. Черносветова,— сосланных по 14 декабря, их вообще в Сибири называют декабристами; главные вопросы были о их образе мыслей, и постоянный ответ... был, что они все теперь уже старики и жалеют о прошедшем» (курсив наш.— И. М.)⁴⁴. Итак, не старики-декабристы, а Сен-Симон и Фурье вдохновляли на борьбу новое поколение русских революционеров.

Выполнив свою агитационную миссию, стихи Рыльева навсегда вошли в золотой фонд вольной русской поэзии. У поэта, чье имя стыдливо замалчивалось в официозном курсе отечественной словесности, нашлись десятки бескорыстных почитателей и исследователей, кропотливо собиравших и критически изучавших его поэтическое наследие.

Подготавливая в середине XIX века материал для научного издания текстов подпольных стихов Давыдова, Пушкина, поэтов-декабристов, С. Д. Полторацкий смотрел далеко в будущее. А пока его современникам предстояло найти пути, чтобы, минуя Сциллу и Харибду царской цензуры, познакомить широкий круг читателей с запретными строками. Немалая заслуга в этом принадлежит русским библиофилам. Из коллекций П. А. Ефремова, С. Д. Полторацкого, Г. Н. Геннади и М. И. Семевского, составителей первых рукописных «антологий» вольной русской поэзии, стихи Пушкина и Рыльева тайными путями проникали в Лондон к Герцену, чтобы возвратиться назад на страницах «Полярной звезды» и историко-революционных сборников⁴⁵. Не забыли своего первого наставника в трудной науке гражданского мужества и другие владельцы «заветных тетрадей», ставшие маститыми профессорами русской истории и словесности, видными общественными деятелями, юристами и учеными.

Вернуть к людям запретную рылеевскую музу — это стало одним из неперемennых требований в борьбе за гражданские права. Каждая новая победа русского революционного движения знаменовала собой уничтожение еще од-

ного барьера, отделявшего поэтов-вольнодумцев от их читателей. Попытки царского правительства бороться с нелегальной рукописной литературой были заведомо обречены на провал. Те списки, которые удавалось изъять по доносам добровольных и штатных осведомителей, можно смело сравнить с чашкой воды, зачерпнутой из моря. К концу николаевского царствования даже в высших правительственных сферах начала пробивать себе дорогу мысль о том, что лучший способ пресечь распространение крайне радикальных сочинений — ослабить цензурный гнет. Публикация историко-революционных материалов, по мнению значительно «поправевшего» в зрелые годы П. А. Вяземского, придавала им оттенок академизма и «умеренности», лишая того «взрывоопасного» заряда, который они имели «в кругу рукописной литературы, очень любимой в России, имеющей несравненно более важности и ценности в глазах читающей публики»⁴⁶. Отмена предварительной цензуры и первая русская революция сокрушили многие «умственные плотины», но еще немало предстояло России пережить, чтобы сбылось предсказание, которое узник Динабургской крепости — В. К. Кюхельбекер вложил в бестелесные уста «тени Рылеева»:

Грядущее твоим очам
Разоблачу я в утешенье...
Поверь: не жертвовал ты снам,
Надеждам будет исполненье! —
Он рек, — и бестелесною рукой
Раздвинул стены, растворил затворы,
Воздвиг певец восторженные взоры
И видит: на Руси святой
Свобода, счастье и покой⁴⁷.

* * *

Читателю наших дней, как это ни покажется на первый взгляд странным, Денис Давыдов, Пушкин и Рылеев стали чем-то ближе и понятнее, чем их современникам. Выверенные и прокомментированные крупнейшими учеными тексты стихов декабристской эпохи, изданные и переизданные десятки раз, помогают ему заглянуть в творческую лабораторию талантливых мастеров «звучащего стиха», острее почувствовать неповторимое своеобразие и силу их разящего слова.

«Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, — писал о декабристах А. И. Герцен, — воины-

Сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтоб разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия»⁴⁸. Они разбудили новое поколение не только силой своего примера, но и своим словом, которое не погибло, сохранилось, дошло до потомков.

О некоторых из тех, кто помнил о наследии декабристов и бережно хранил их «звучащий стих», рассказала эта книга. Далеко не полный, фрагментарный обзор позволяет, однако, сделать некоторые выводы. Вольнолюбивые стихи распространялись очень широко. В архивах и частных собраниях сохранились сотни списков, хотя имена большинства их владельцев нам не известны. Тем не менее даже сравнительно малочисленный круг оставивших о себе память читателей-переписчиков позволяет судить о том, что вольное слово проникало практически во все слои образованного русского общества. Далеко не каждый владелец списка пушкинских или рылеевских стихов был сознательным участником русского освободительного движения. Однако, переходя из рук в руки, потаенные листки рано или поздно находили своих адресатов, приобщая к свободомыслию новую смену борцов с деспотизмом.

Следует отметить, что при переписывании текст не только портился, как это обычно принято считать. Мелкие, с первого взгляда незначительные разночтения зачастую помогают выявить интереснейшие черты как индивидуальной, так и социальной психологии читателя.

Активный читатель вторгался в переписываемый текст, заменяя устаревшее, вводя новое. При этом зачастую происходила радикализация стиха, усиление его антидеспотического звучания.

Пожелтевшие листки с переписанными стихами, искаженными, сокращенными, неверно атрибутированными, сохраняют для нас неповторимый, живой аромат давно прошедшей эпохи. Именно они помогают нам ощутить дыхание общественной жизни той удивительной эпохи, когда в России вдруг всколыхнулись живые силы и петербургское самовластие после многих дворцовых кризисов и блестящей победы русского народа над Наполеоном больше уже не казалось незыблемым и всемогущим.

Молодые офицеры на полях сражений научились видеть в солдате человека, вернувшись на родину, они не могли и не хотели видеть в нем раба. Лучшие люди России — пусть их было меньшинство — понимали теперь, что

честь, свобода, справедливость не существуют там, где люди владеют людьми. Вот почему в русской нелегальной поэзии той эпохи осуждение самодержавия и рабства так часто выливалось в гневный протест против тирании вообще. Именно здесь, на единодушном осуждении деспотизма, сходились те, кто по-разному представлял себе политическое и экономическое будущее России. Не удивительно, что свободолюбивые стихи мы находим в библиотеке деревенского помещика и известного литератора, бедного офицера и крупного военачальника, у знаменитой актрисы и скромного провинциала. Но более всего ими, естественно, увлекалась молодежь. Между 1812 и 1825 годами в России сложилось целое поколение образованных, умных людей с независимым характером и рыцарской доблестью. Почти все они были из дворян, но как не похожи были эти серьезные люди (вспомним Чацкого) на легкомысленных и лукавых царедворцев предшествующих времен, не мыслящих себя без покорного послушания и обожествления власти!

Это были уже не те дворяне. Они вполне созрели для восприятия серьезных революционных идей и даже для «цареубийственного кинжала» (вспомним X главу «Онегина»). Более того, многие из них понимали необходимость освобождения народа. Не случайно Рылеев и Бестужев незадолго до восстания сочиняли агитационные песни в народном духе.

Свободолюбивая поэзия преддекабристской поры была рождена потребностью свободы, которая именно «горела» (Пушкин «К Чаадаеву») в умах и сердцах лучших русских. Эта же жажда перемен, в тайне лелеемые надежды на скорое будущее обновление способствовали интересу к нелегальной поэзии и заставляли даже осторожных людей хранить и переписывать тайные тетради.

Осуждая деспотизм, воспевая свободу, призывая отчизну воспрянуть духом и сбросить тяжкие цепи, свободный стих александровской эпохи звучал для всех, кто желал его слышать.

Доходил ли этот стих до тех, кого абстрактно и собирательно сами поэты той поры называли народом? Иногда доходил. Известно, что в Кронштадте во время «гражданской казни» Н. Бестужева и его товарищей один молодой унтер-офицер, конвоировавший осужденных, прочел Бестужеву наизусть несколько революционных песен Рылеева, нигде не печатавшихся, и прибавил, что у всех его матросов, умеющих читать и писать, имеются списки этих

стихов и других в том же духе. Читали потаенные стихи в солдатских казармах и после восстания.

Вольная поэзия стала проводником революционных идей и воспитала последующие поколения в духе ненависти к тиранам и верности идеалам свободы и справедливости.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРОЛОГ

- ¹ Нечкина М. В. Восстание декабристов. Т. 1. М., 1955, с. 199.
- ² Ленин В. И. Полн. собр. соч. Изд. 5-е, т. 21, с. 262.
- ³ См.: Гуковский Г. А. Стиль гражданского романтизма 1800—1810-х годов и творчество молодого Пушкина.— В кн.: Пушкин — родоначальник новой русской литературы. М.— Л., 1941; Он же. Пушкин и русские романтики. Саратов, 1946, с. 145—146.
- ⁴ См.: Оксман Ю. Г. Секретне слідство про «Исповедь Наливайко» К. Ф. Рилеева року 1825.— В кн.: Юбілейний збірник на пошану академіка Д. Й. Багалія. Київ, 1927, стор. 875—877.
- ⁵ Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения. Т. 2. М., 1958, с. 620.
- ⁶ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 4. М., 1954, с. 120.
- ⁷ Мнемозина, или Собрание сочинений в стихах и прозе. (Объявление о подписке.) — «Московские ведомости», 1824, 5 янв., с. 53—54.
- ⁸ Тынянов Ю. Кюхля. Смерть Вазир-Мухтара. Л., 1971, с. 169.
- ⁹ «Мнемозина», 1824, ч. III, с. 182. В Отделе рукописей Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР (далее: ИРЛИ) хранится сделанный писцом и дополненный Кюхельбекером и Одоевским список лиц, подписавшихся на «Мнемозину» в Москве у книготорговца Ельцнера. По-видимому, он охватывает только подписчиков на 1-ю часть альманаха: их было 46, и подписались они на 76 экземпляров. Следовательно, с выходом следующих частей подписка продолжала неуклонно расти. См.: ИРЛИ, ф. 392 (В. Ф. Одоевского), № 1, л. 3—4 об.
- ¹⁰ См.: Смирнов-Сокольский Н. П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962, с. 50, 69, 80, 107—108.
- ¹¹ Общественное движение в России в первую половину XIX в. Т. 1. Спб., 1905, с. 490.
- ¹² «Русская старина», 1876, т. 17, № 10, с. 228.
- ¹³ Там же, 1888, т. 60, № 11, с. 327—328.
- ¹⁴ Там же, с. 327.
- ¹⁵ Там же.
- ¹⁶ Шифр: 18. 146. 2. 118.
- ¹⁷ См.: Рылеев К. Ф. Полное собрание стихотворений. Л., 1971, с. 426—427.
- ¹⁸ Стертую владельческую надпись можно, например, найти на титульном листе первого выпуска «Полярной звезды» (Спб., 1823), хранящегося в фондах ИРЛИ — шифр: 90. 1. 2/30. См. также заметку П. Краснова об экземпляре «Шекспировских духов» (Спб., 1825) из библиотеки Константина Цебрикова с вырванной издательской обложкой, на которой была дарственная надпись его брату-декабристу от автора книги — В. К. Кюхельбекера («Книжное обозрение», 1973, № 37, 14 сентября, с. 12).
- ¹⁹ Шифр: 46. 4/62.

- ²⁰ Сектор редкой книги, шифр А/38. См. подробнее об этом экземпляре: Мартынов И. Подарено декабристами.— «Нева», 1974, № 10, с. 219.
- ²¹ Кюхельбекер В. К. Дневник. Л., 1929, с. 108.
- ²² «Русский архив», 1886, т. 1, с. 227.
- ²³ См. подробнее об этом альманахе и его владельце в кн.: Степанов А. Н. У книг своя судьба. Л., 1974, с. 43—60.
- ²⁴ См. очерк об Ивановском в кн.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». Из истории книги и прессы пушкинской поры. М., 1972, с. 12—24.
- ²⁵ Сектор редкой книги, шифр: 1825/293.
- ²⁶ Любопытно отметить, что в конце 1850-х годов мемориальная пушкинская библиотека Александровского лицея пополнилась полным комплектом «Полярной звезды», отдельные выпуски которой были подарены директором лицея Н. Н. Гартманом и лицеистом 6-го выпуска академиком Я. К. Гротом (см.: ИРЛИ, шифр: 90. 1. 2/18). Декабристский альманах явно не предназначался для чтения учащихя. В Пушкинской библиотеке ему, скорее всего, пришлось выполнять роль музейного «экспоната», надежно защищенного от пытливых глаз стеклом витрины. Об этом свидетельствует перевозданная белизна страниц экземпляра и не потускневшее за полтора столетия золотое тиснение переплета.
- ²⁷ Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (далее: ОР ГБЛ), ф. 233 (Полторацкого), п. 45.
- ²⁸ ГПБ, шифр: 18. 131. 6. 49а.
- ²⁹ ИРЛИ, шифр: 76. 4/10.
- ³⁰ Отдел рукописной и редкой книги Библиотеки Академии наук СССР (далее: ОРРК БАН), Никольск. 215. Бумага с водяным знаком 1823 года.
- ³¹ См.: Гладыш И. А., Динесман Т. Г. «Горе от ума». Страницы истории. М., «Книга», 1971.

«КРАСНОРЕЧИВЫЙ ЗАБИЯКА, ПОВЕСА, ПЛАМЕННЫЙ ПОЭТ...»

- ¹ Марин С. Н. Поля. собр. соч.— В кн.: Летописи Государственного литературного музея. Кн. 10. М., 1948, с. 303.
- ² Давыдов Д. В. Сочинения. М., 1962, с. 30.
- ³ Отдел рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (далее: ОР ГПБ), ф. 247 (Г. Р. Державина), т. 38, л. 103—103 об.
- ⁴ Благово Д. Д. Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком. Спб., 1885, с. 52.
- ⁵ См.: «Каталог книг библиотеки г-на Александра Янькова, адъютанта ее величества императрицы Елизаветы Петровны, императрицы российской. Первый каталог библиотеки Горок 1740».— ОР ГБЛ, ф. 466 (В. В. Егерев), № 49.
- ⁶ Лихачев Н. П. Генеалогическая история одной помещичьей библиотеки. Спб., 1913, с. 36—37.
- ⁷ ИРЛИ, ф. 119 (К. Д. Кавелина), оп. 8, № 6.
- ⁸ «Друг просвещения», 1806, ч. II, апрель, с. 32—33.
- ⁹ Общественное движение в России в первую половину XIX века. Т. 1. Спб., 1905, с. 490.
- ¹⁰ «Литературное наследство», т. 9—10, 1933, с. 98.

- ¹¹ Тучков С. А. Записки. Спб., 1908, с. 42.
¹² Бабкин Д. С. А. Н. Радищев. Литературно-общественная деятельность. М.—Л., 1966, с. 58.
¹³ ИРЛИ, ф. 405, № 4, л. 228.
¹⁴ Там же, л. 207.
¹⁵ Воспоминания Бестужевых. М.—Л., 1951, с. 262.
¹⁶ Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.—Л., 1930, с. 329—330.
¹⁷ Там же, с. 334.
¹⁸ Поэты-декабристы. Л., 1960, с. 397. (Библиотека поэта. Малая серия).

**«И ПУШКИНА СТИХИ
 В ПЕЧАТИ НЕ БЫВАЛИ...»**

- ¹ Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1974, с. 97.
² Общественное движение в России в первую половину XIX века, с. 490.
³ Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1, с. 365.
⁴ Глинка Ф. Н. Избранные произведения. Л., 1957, с. 440. (Библиотека поэта. Большая серия).
⁵ О списках стихотворений Пушкина в архиве адмирала Головина сообщил Ю. В. Давыдов в своей кн.: Головин. М., 1968, с. 188 (Жизнь замечательных людей).
⁶ Центральный государственный архив военно-морского флота СССР (далее: ЦГАВМФ), ф. 7, оп. 1, № 32.
⁷ Княжнин Я. Б. Избранные произведения. Л., 1961, с. 732—733. (Библиотека поэта. Большая серия).
⁸ Это предположение высказано Ю. В. Давыдовым в книге о Головине (с. 190).
⁹ ЦГАВМФ, ф. 7, оп. 1, № 21, л. 330—331 об.
¹⁰ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 2. М.—Л., 1949, с. 1031.
¹¹ Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. М., 1957, с. 39.
¹² Там же, с. 38.
¹³ ОРРК БАН, Лукьян, № 274.
¹⁴ См.: Лященко А. И. Две старинные тетради со стихами Пушкина.— «Новое время», приложение, № 13315, 1913, 6(19) апреля, с. 8.
¹⁵ Брискман М. А. В. Г. Анастасевич (1775—1845). М., 1958, с. 243, 245.
¹⁶ Там же, с. 249.
¹⁷ «Улей», 1812, ч. III, январь, № 13, с. 82.
¹⁸ Брискман М. А. Указ. соч., с. 235.
¹⁹ См. о библиотеке В. Г. Анастасевича: Мартынов И. Ф. Каталог... на 68 мешков.— «В мире книг», 1973, № 7, с. 87.
²⁰ ОР ГБЛ, ф. 913 (В. Г. Анастасевича), картон 1, № 4.
²¹ Томашевский Б. В. Пушкин. Кн. 1. М.—Л., 1956, с. 189—190.
²² ОР ГБЛ, О. Р. № 253, л. 56 об.
²³ Пушкин А. С. Сочинения. Под ред. П. А. Ефремова. Т. 8. Спб., 1905, с. 109.
²⁴ ИРЛИ, ф. 244, оп. 8, № 47, л. 5 об.
²⁵ «Северная звезда», 1829, с. 50.
²⁶ Пушкин А. С. Собр. соч. В 10-ти т. Т. 7. М., 1958, с. 93.
²⁷ Шильдер Н. К. Император Александр Первый, его жизнь и царствование. Т. III, Спб., 1897, с. 231.

- ²⁸ См.: Цявловский М. А. Представление «Деревни» Пушкина Александру I.— В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. 2. М.—Л., 1958, с. 382—385.
- ²⁹ См.: Бельчиков Н. Ф. Новое о Пушкине («Деревня»).— В кн.: Пушкин. Сб. 2. Под ред. Н. К. Пиксанова. М.—Л., 1930.
- ³⁰ Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.—Л., 1936, с. 216.
- ³¹ Там же, с. 143.
- ³² Архив братьев Тургеневых. Т. 5. Л., 1921, с. 228.
В 1831—1832 гг. обширное книжное собрание А. И. Тургенева было приобретено Московским университетом (см. о нем: «Иллюстрация», 1846, № 1, 5 января, с. 7—9; № 2, 12 января, с. 17—19). В настоящее время сотрудниками Научной библиотеки Московского университета выявлено в фондах около 1000 томов с владельческими записями и пометами двух поколений Тургеневых, и они ждут своих исследователей (см.: Сафонова Н. И. Личные библиотеки в собрании Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки им. А. М. Горького МГУ.— В кн.: Рукописная и печатная книга в фондах Научной библиотеки Московского университета. Вып. 1. М., 1973, с. 83). Однако наиболее старая часть фамильной библиотеки и книги Н. И. Тургенева долгие годы хранились в симбирском имении и, пережив несколько владельцев, поступили в 1965 г. от В. А. Обручевой в Пушкинский дом. На многих из 310 книг также имеются записи и пометы братьев Тургеневых и их отца (см.: Дубровская Т. И. Коллекция книг из библиотеки братьев Тургеневых.— В кн.: Сборник статей и материалов библиотеки Академии наук по книговедению. Вып. 2. Л., 1970, с. 283—290).
- ³³ Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. Спб., 1899, с. 296. Об отношении братьев Тургеневых к «Деревне» и политической борьбе вокруг стихотворения Пушкина см.: Петрунина Н. Н., Фридендер Г. М. Над страницами Пушкина. Л., 1974, с. 28—42.
- ³⁴ Щербачев Ю. Н. Приятели Пушкина М. А. Щербинин и П. П. Каверин. М., 1912, с. 64.
- ³⁵ См.: Мандрыкина Л. А., Цявловская Т. Г. Распространение вольнолюбивых стихов Пушкина Кавериним и Щербининим.— «Литературное наследство», М., 1956, т. 60, кн. 1, с. 398—402.
- ³⁶ Летописи Государственного Литературного музея. Кн. 1. Пушкин. М., 1936, с. 491.
- ³⁷ Там же, с. 539.
- ³⁸ Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». Из истории книги и прессы пушкинской поры. М., 1972, с. 24—25.
- ³⁹ Некрасов Н. А. Сочинения. Т. 2. М., 1959, с. 216.
- ⁴⁰ Волконская М. Н. Записки. Л., 1924, с. 22—23.
- ⁴¹ Там же, с. 34—35.
- ⁴² «Русский архив», 1874, кн. 2, стлб. 703.
- ⁴³ Волконский С. М. О декабристах (По семейным воспоминаниям). Пб., 1922, с. 46.
- ⁴⁴ См. его статью «Во глубине сибирских руд.. (Новые материалы)».— В кн.: Азадовский М. К. Статьи о литературе и фольклоре. М.—Л., 1960, с. 444.
- ⁴⁵ Волконская М. Н. Указ. соч., с. 68.

- ⁴⁶ Там же, с. 71.
- ⁴⁷ Пущин И. И. Записки о Пушкине. М., 1956, с. 84.
- ⁴⁸ ИРЛИ, ф. 57 (Волконских), оп. 4, № 233, л. 1.
- ⁴⁹ См.: Клепиков С. А. Филиграния и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII—XIX века. М., 1959, с. 111.
- ⁵⁰ Гуревич А. В. Пушкин и Сибирь. Литературно-критические статьи и очерки. Красноярск, 1952, с. 30.
- ⁵¹ См. примечания С. Я. Штрайха к «Запискам о Пушкине» И. И. Пущина. М., 1956, с. 395, 398—400.
- ⁵² После 12 лет каторжных работ, в 1839 г. И. И. Пущин был сослан на поселение в город Туринск Тобольской губернии. В 1842 г. ему разрешили переехать на жительство в город Ялуторовск. В пущинской «заветной тетради» тех лет мы находим послание «В Сибирь», оду «Вольность» (л. 3—6), «Кинжал», «Нозль» («Ура! В Россию скачет...»), «Мой первый друг, мой друг бесценный...», стихотворения К. Ф. Рыльева «Гражданин» и «Исповедь Наливайки». См.: ОР ГБЛ, ф. 243 (И. И. Пущина), папка 5, № 1 (86 листов).
- ⁵³ «Русский архив», 1874, кн. 2, стлб. 703.
- ⁵⁴ ОР ГБЛ, 59. 16, л. 3. Бумага с водяным знаком «1865».
- ⁵⁵ См.: Одоевский А. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1958, с. 7 (Б-ка поэта. Большая серия).
- ⁵⁶ Центральный государственный архив литературы и искусства (далее: ЦГАЛИ), ф. 1346 (Коллекция стихотворений), оп. 1, № 532, л. 9.
- ⁵⁷ ОР ГПБ, ф. 178 (Г. Н. Геннади), № 92.
- ⁵⁸ См.: Гусев Н. «Послание в Сибирь», неизвестные варианты стихотворения А. С. Пушкина.— «Литературная газета», 1939, № 32 (811), 10 июня, с. 6.
- ⁵⁹ Кошелев А. И. Записки (1812—1833 годы). Берлин, 1884, с. 13. Подробнее о четвергах С. Е. Раича и субботах «любомудров» см. в кн.: Аронсон М. И., Рейсер С. А. Литературные кружки и салоны. Л., 1929, с. 123.
- ⁶⁰ «Русский архив», 1881, кн. 2, с. 344.
- ⁶¹ ЦГАЛИ, ф. 394 (Н. В. Путяты), оп. 1, № 46, л. 57. 76.
- ⁶² Там же, № 71. Бумага со штемпелем «Невской БВ Фаб. Спб», (1852—1859). В сборник включены пушкинские ода «Вольность», «Деревня», послание «К Чаадаеву» и «Нозль» (с любпытным примечанием: «Басня. Приписывалась Пушкину, но наверное не знаю — его ли», л. 12), басня Д. В. Давыдова «Голова и Ноги», последние стихотворения К. Ф. Рыльева («Мне тошно здесь, как на чужбине...» и «О милый друг!..») и послание А. И. Одоевского к М. Н. Волконской «Был край, слезам и скорби посвященный...»
- ⁶³ ИРЛИ, ф. 243 (Д. П. Ознобишина), № 189. Бумага без штемпелей и филиграния. На двух листах плотной бумаги переписаны послание «В Сибирь», «Ответ» Одоевского и пушкинское стихотворение «Свободы сеятель пустынный...»
- ⁶⁴ Атений. Кн. 3, 1926, с. 11.
- ⁶⁵ «Русская старина», 1904, № 7, с. 9.
- ⁶⁶ См.: Гольц Т. М. Сердце брата. Душанбе, 1964, с. 54.
- ⁶⁷ В ОРРК БАН (Музей Приенисейского края, № 15) сохранился один из поздних списков стихотворения Пушкина «Свободы сеятель пустынный...», соседствующий в «заветной тетради»

неизвестного сибиряка рядом с песнями крымских солдат и едкой сатирой А. Ф. Воейкова на рептильных литераторов «Дом сумасшедших».

- ⁶⁸ См.: Рейсер С. А. В борьбе за свободное слово.— В кн.: Вольная русская поэзия второй половины XVIII — первой половины XIX века. Л., 1970, с. 55—56. О психологии «вычитывания» читателем отсутствующих в авторском тексте идей см. работу видного русского книговеда Н. А. Рубакина «Психология читателя и книги. Краткое введение в библиологическую психологию» (М.— Л., 1929).
- ⁶⁹ Герцен А. И. Собр. соч. Т. 7. М., 1956, с. 214—215.

«ВСЕ ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЕ РУКОПИСИ ХОДИЛИ ПОД МОИМ ИМЕНЕМ...»

- ¹ ЦГАЛИ, ф. 46, оп. 1, № 561, л. 557 об.
- ² См.: Вольная русская поэзия второй половины XVIII — первой половины XIX века. Л., 1970, с. 462, 703.
- ³ ИРЛИ, Р II, оп. 1, № 598.
- ⁴ «Современник», 1838, т. 11, с. 33—37.
- ⁵ ИРЛИ, ф. 234 (П. А. Плетнева), оп. 3, № 179, л. 1—2.
- ⁶ «Северные записки», 1913, февраль, с. 38.
- ⁷ «Современник», 1838, т. 11, с. 33.
- ⁸ Указанный сборник, л. 215—215 об.
- ⁹ Шадури В. С. Друг Пушкина А. А. Шишков и его роман о Грузии. Тбилиси, 1951, с. 339.
- ¹⁰ Вольная русская поэзия... с. 504.
- ¹¹ Шадури В. С. Указ. соч., с. 340.
- ¹² «Русская старина», 1871, № 12, с. 673.
- ¹³ ИРЛИ, ф. 265 (архив журнала «Русская старина»), оп. 1, № 4, л. 283 об.
- ¹⁴ Там же, л. 286—288 об.
- ¹⁵ Там же, л. 283 об.
- ¹⁶ См.: В. Ганцова-Берникова. Отголоски декабрьского восстания 1825 года.— «Красный архив», 1926, № 3 (16), с. 194.
- ¹⁷ Вольная русская поэзия... с. 504—505.
- ¹⁸ См. о нем биографическую справку В. Э. Вацуро в кн.: Поэты 1820—1830-х годов. Т. 1. Л., 1972, с. 429—431 (Библиотека поэта. Большая серия).
- ¹⁹ Шадури В. С. Указ. соч., с. 352.
- ²⁰ Поэты 1820—1830-х годов. Т. 1, с. 407.
- ²¹ Там же, с. 751.
- ²² Вольная русская поэзия... с. 508.
- ²³ Лернер Н. О. Заметки о Пушкине. XI. Псевдопушкиниана.— В кн.: Пушкин и его современники. Вып. 13. Спб., 1913, с. 56—59.

«В ЧАС КАЗНИ ПРАВОТОЮ ГОРД...»

- ¹ ИРЛИ, ф. 244 (А. С. Пушкина), оп. 8, № 29 (200 листов). Сатира «К временщику» скопирована на листах бумаги с водяным знаком «1821» и подписана: «С французского и <еревел> Рылеев».
- ² См.: Глинка в воспоминаниях современников. Под общей ред. А. А. Орловой. М., 1955, с. 132—140.
- ³ «Литературное наследство», 1952, т. 58, с. 247—248.

- ⁴ «Вестник Европы», 1888, т. VI, № 11, с. 215.
- ⁵ «Литературное наследство», 1956, т. 60, кн. 1, с. 208.
- ⁶ ЦГАЛИ, ф. 195 (Вяземских), оп. 3, № 78. См. об этих списках: Брискман М. А. Агитационные песни декабристов (Новые материалы).— В кн.: Декабристы и их время. Материалы и сообщения. М.— Л., 1951, с. 11—14.
- ⁷ Смирнова А. О. Записки. (Из записных книжек 1826—1845 гг.). Ч. II. Спб., 1897, с. 19—20.
- ⁸ Пушкин И. И. Записки о Пушкине. М., 1956, с. 396.
- ⁹ А. В. (С. С. Уваров). Литературные воспоминания.— «Современник», 1851, т. 27, кн. 6, отд. II, с. 40.
- ¹⁰ Среди бумаг Олениных сохранился список пушкинского «Кинжала» со значительными разночтениями (ОР ГПБ, ф. 542, № 923).
- ¹¹ Герцен А. И. Собр. соч., т. 7, с. 214.
- ¹² Дневник Анны Алексеевны Олениной (1828—1829). Предисл. и ред. О. Н. Оом. Париж, 1936, с. 38.
- ¹³ ОР ГПБ, ф. 542, № 968.
- ¹⁴ Некрасов Н. А. Сочинения, т. 2, с. 217.
- ¹⁵ Дневник А. А. Олениной, с. 17.
- ¹⁶ Там же, с. 32—33, 35. Среди бумаг Олениных сохранился список «Думы» Рылеева «Державин». Помета № 21 и оглавление на последней странице списка свидетельствуют о том, что эта тетрадь вырвана из полной копии печатного издания «Дум». По-видимому, остальные рылеевские материалы (в том числе и оставленные у Олениных Чечуриным) либо были уничтожены, либо перешли к другим владельцам.
- ¹⁷ ЦГАЛИ, ф. 819 (П. И. Орловой-Савиной), оп. 1, № 4, л. 2 об — 3 об.
- ¹⁸ Там же, № 615. Бумага с водяными знаками «АБФ» (1821—1835 гг.).
- ¹⁹ Герцен А. И. Собр. соч., т. 7, с. 198.
- ²⁰ «Былое», 1918, № 1 (29), с. 13.
- ²¹ Известный библиофил П. А. Ефремов приобрел «Думы» и «Войнаровского» Рылеева в лавке Кольчугиных (см.: Симони П. К. Материалы к истории русской книжной торговли. Вып. 1. Н. И. Новиков и книгопродавцы Кольчугины XVIII—XIX столетия. Спб., 1906, с. 53).
- ²² «Полярная звезда» на 1862 год, издаваемая Искандером и Н. Огаревым. Книжка VII, вып. 1. Лондон, 1861, с. 104—105.
- ²³ Там же, с. 103; Декабристы и их время. М., 1951, с. 229.
- ²⁴ Декабристы и их время. М., 1951, с. 231.
- ²⁵ Там же.
- ²⁶ «Литературное наследство», т. 58, 1952, с. 518.
- ²⁷ Там же, с. 518—520.
- ²⁸ См. о нежинском «деле» в повести С. И. Машинского «Чемодан Адеркаса» (М., «Детская литература», 1968).
- ²⁹ «Русский вестник», 1875, № 7, с. 577.
- ³⁰ Там же, с. 579.
- ³¹ «Русский архив», 1877, кн. 2, с. 154—155. В 1845 г., уезжая в Петербург, Второв-сын пожертвовал богатейшее книжное собрание отпа (оцененное в 12 тысяч рублей) городу своей юности — Казани (ныне хранится в Республиканской библиотеке Татарской АССР).
- ³² Там же, с. 157.

- ³³ ЦГАЛИ, ф. 93 (Второвых), оп. 1, № 95.
- ³⁴ «Русский архив», 1877, кн. 2, с. 442. См. подробнее о Винтуловé и о «заветной тетради» воронежского поэта-самоучки И. С. Никитина со списками рылеевских «Дум» и поэмы «Войнаровский» в кн.: Удодов Б. Т. К. Ф. Рылеев в воронежском крае. Воронеж, 1971, с. 72—73.
- ³⁵ Милюков А. П. Доброе старое время. (Очерки былого). Спб., 1872, с. 207—208.
- ³⁶ ИРЛИ, ф. 137 (К. К. Романова), № 162.
- ³⁷ ОР ГБЛ, ф. 333 (Чичаговых), № 56. Бумага с водяными знаками 1822—1839 гг. На корешке рукописи сохранился бумажный ярлычок с шифром, под которым она хранилась в библиотеке Чичагова — «Отд. III, № 4».
- ³⁸ Русский биографический словарь. Т. «Плавильщиков — Примо». Спб., 1905, с. 425.
- ³⁹ ОР ГПБ, ф. 233 (Полторацкий), п. 45, № 29, 30, 31.
- ⁴⁰ Литературное наследство», т. 58, 1952, с. 311.
- ⁴¹ Six mois en Russie. Lettres écrites A. M. X.-B. Saintines en 1826, à l'époque du couronnement de S. M. L'Empereur, par M. Ancelot. Paris, 1827, p. 179—181 («La confession de Nalivaiko. Fragment d'un poëme inédit de C. Ryleeff»).
- ⁴² ИРЛИ, Р 1, оп. 24, № 93.
- ⁴³ Герцен А. И. Собр. соч., т. 7, с. 198.
- ⁴⁴ Дело петрашевцев. Т. 1. М.—Л., 1937, с. 448.
- ⁴⁵ См.: Эйдельман Н. Я. Тайные корреспонденты «Полярной звезды». М., 1966; Рейсер С. А. Указ. соч., с. 45—46; Бушканец Е. Г. Новое о нелегальной поэзии 1850-х гг. (По материалам архива П. А. Ефремова).— «Известия ОЛЯ АН СССР», 1962, т. XXI, вып. 4, июль — август, с. 338.
- ⁴⁶ Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. 7. Спб., 1882, с. 36.
- ⁴⁷ Кюхельбекер В. К. Избр. соч. Т. 1. М.—Л., 1967, с. 212.
- ⁴⁸ Герцен А. И. Собр. соч. Т. 16. М., 1959, с. 171.

Альтшуллер М. Г., Мартынов И. Ф.

А 58 «Звучащий стих свободы ради...» М., «Книга», 1976.

120 с. с ил.

Авторы рассказывают о декабристской поэзии, ее восприятии современниками, общественном резонансе произведений Пушкина, Рыльева, Дениса Давыдова. На основе архивных разысканий авторы показывают среду, на которую опирались декабристы, рисуют портреты читателей из разных слоев общества. Среди читателей запретной поэзии — Г. Р. Державин и Ф. И. Тютчев, капитан В. М. Головин и библиограф В. Г. Анастасевич, хозяйка литературного салона Аннет Оленина и «русская Офелия» П. И. Орлова-Савина. Книга внесет новые штрихи и в историю декабристских произведений, и в историю читателя. Рассчитана на широкие круги читателей.

А $\frac{61001-059}{002(01)-76}$ БЗ-2-22-76

002

**Альтшуллер Марк Григорьевич
Мартынов Иван Федорович**

**«ЗВУЧАЩИЙ СТИХ
СВОБОДЫ РАДИ...»**

**Редактор
Э. Б. Кузьмина
Художественный редактор
Н. Д. Карандашов
Технический редактор
Е. И. Полякова
Корректор
Н. Б. Богданова**

**Издательство «Книга»,
Москва, К-9,
ул. Неждановой, 8/10
Гульская типография при Гос-
комиздате СССР по делам из-
дательств, полиграфии и книж-
ной торговли.
Тула, проспект Ленина, 109.**

**А-07719. Сдано в набор 22/X-1975 г.
Подписано в печать 2/III-1976 г.
Формат бум. 84×108^{1/32}. Типо-
графская № 2. Усл. печ. л. 6,3.
Уч.-изд. л. 6,44. Тираж 20 000 экз.
Заказ № 802. Изд. № 1313. Цена
27 коп.**